

Странная женщина (сборник)

Автор:

Мария Метлицкая

Странная женщина (сборник)

Мария Метлицкая

Как часто женщины поступают странно, нелогично, даже неразумно, с точки зрения рациональных людей.

Выбирают в мужа не состоятельного карьериста, а нищего и «бесперспективного» студента.

Идут наперекор родительской воле, тем самым лишая себя поддержки близких.

Всю жизнь ждут от мужа слов любви, зная, что он любит другую.

Но ведь для женщины главное – любить. А там, где речь идет о чувствах, правильным, рациональным поступкам нет места.

И пусть ее называют странной, пусть даже считают несчастной. Она-то знает, что счастлива. Потому что любит.

Мария Метлицкая

Странная женщина (сборник)

Дом творчества

На ужин давали селедку и винегрет. Нина сидела за столиком у входной двери и пила темный безвкусный чай, пахнувший прелой травой.

Мужики негромко и недовольно ворчали: дескать, что за рацион? С копыт рухнешь. Гобеленщица Тамара, узкая в фас и особенно в профиль, очень похожая на грустную лошадь, моталась у окна раздачи в надежде выпросить добавки. Скульпторша Лида Власова, с мощным бюстом и крупными, почти мужскими руками, единственная, кто позволил себе возмущаться в голос, кричала на толстую повариху в высоком белом колпаке и требовала жалобную книгу.

– Воруете! – яростно возмущалась Лида и порывалась проверить сумки поварихи и подавальщицы.

Ушлая повариха вяло отбрехивалась и книгу жалоб давать не хотела. Лида грамотно, по возрастающей, развивала скандал. Возле нее начала собираться группа поддержки.

Нина подумала, что надо взять в номер побольше хлеба: там, в номере, есть кипяtilьник, чай, сахар и варенье. Она под шумок подошла к голубому пластиковому столу, где в больших эмалированных тазах лежал крупно нарезанный хлеб – черный и белый. Оглядываясь и краснея, Нина стала запихивать хлеб в пакет и тут услышала звонкий крик.

– Вот! – узнала она визгливый голос официантки Зойки. – И это кто еще ворует?! Посмотрите на нее! Если все так будут тырить!.. – верещала Зойка.

Нина покраснела и замерла. Зойка, тощая, злющая, с пергидролевым хвостом на затылке, самозабвенно ненавидела всех женщин без исключения. Грохала тарелки перед ними так, что разлетались брызги. И ее почему-то все побаивались.

Лида Власова, услышав Зойкин крик, пошла на таран. Являя собой всю мировую справедливость, она приперла субтильную Зойку мощным бюстом к стене.

– Жируешь тут за наш счет? – грозно сдвинув брови, спросила Лида. – И еще хамишь культурным людям?

На «жирующую» тощая и взъерошенная Зойка явно не тянула. Хамка из нее выходила отменная, но хоть Зойка и была не из пугливых, при виде Лидиной мощи даже ее пыл поутих.

– Жалобу будем писать! Коллективную! – угрожающе пообещала Лида. – И в Союз художников, и в ревизионную, и в прокуратуру.

– Сидите тут на всем готовом и еще недовольны, – чуть сбавила обороты Зойка.

Лида пошла к выходу и у двери обернулась:

– Управу найдем, не сомневайтесь.

Последнее слово осталось, как всегда, за ней. Лида вышла, скандал постепенно стал сходиться на нет. Больше смельчаков не нашлось. Нина тихо выскользнула из столовой и пошла в свой номер.

В номере было холодно и выстужено и дуло из всех щелей. Нина села на кровать, накинула на себя одеяло и разревелась. Сколько унижений может вынести человек? От всех, с самого детства. От вредной мачехи, истеричной классной. От заказчика, худсовета. От мерзкой хамки официантки. От кондуктора в автобусе. От паспортистки в жэке. И наконец, от самого главного человека в своей жизни – самые большие унижения. От которых она, кстати, и сбежала в этот забытый богом городишко, в этот унылый пансионат для «творцов», выбить путевку в который тоже оказалось еще каким унижением.

Путевки давали с огромным одолжением. Сначала – бесконечная очередь. Потом – комиссия и рассмотрение заявления. Дурацкие унижительные вопросы. Но все равно попасть сюда считалось удачей и почти благом, несмотря на холодные номера, серое постельное белье, жесткие солдатские одеяла, нищенскую кормежку и откровенно вороватый и хамоватый персонал.

Путевку давали на два месяца – а значит, два месяца можно не думать о куске хлеба, об оплате счетов за электричество в мастерской. О непостоянных и капризных заказчиках. К тому же здесь выдавали (бесплатно, разумеется) глину, холсты, подрамники, краски, кисти, разрешали пользоваться муфельными печами.

Здесь не было крикливых детей, сварливых тещ и жен и хронически недовольных мужей. И еще было чудное озеро, где когда-то развлекался длинноногий царь-подросток со своими «потешными» суденышками, что стало предтечей его дальнейшей великой судьбы. К озеру исправно возил немногочисленных туристов маленький паровозик со смешным названием «кукушка».

Да и в городишке, как водится, нищем и убогом, тоже была, конечно, своя среднерусская прелесть. И покосившиеся домишки в один этаж с геранью на окнах и толстыми полосатыми котами на подоконниках, и потрескавшиеся резные наличники, и неровная брусчатая мостовая. И заброшенный монастырь с высокой и гордой колокольной. И добродушный, неприхотливый, смешно окаяющий сильно пьющий народец, полный непонятого оптимизма, не забывающий, впрочем, клясть при этом свою горькую судьбу.

В самом доме затевались бесконечные романы и порой кипели нешуточные страсти. И даже, несмотря на, казалось бы, размеренность жизни, случались и истинные драмы. Но Нине это было вовсе ни к чему. Ведь именно от драм и страстей ей хотелось укрыться и отдохнуть – хотя бы на пару месяцев.

Она налила в литровую банку мутноватой и желтой воды, еще раз тяжело вздохнула и воткнула кипятильник в розетку. Опять села на кровать, накинула одеяло и стала ждать, пока закипит вода. Но вода и не думала закипать. Нина потрогала кипятильник и сказала вслух:

– Сдох. И ты, гад, против меня!

И снова громко, в голос, разревелась. Подумала, что выпила бы сейчас крепкого и сладкого чаю и съела бы бутерброд с белым хлебом и докторской колбасой, а потом легла бы в кровать, укуталась в одеяло и блаженно закрыла глаза. Но чая не было, увы, и докторской колбасы, кстати, тоже. Значит, придется жевать всухомятку черный хлеб, а завтра непременно разболится желудок – ну, это уж как водится!

Нина медленно раскачивалась на кровати и тихонько подвывала. В Дом творчества она сбежала от своего утомительного, тянущегося, как старый клей, затяжного и бестолкового романа, измучившего и вконец измотавшего ее за долгих четыре года. Предмет ее страданий был глубоко и устойчиво женат,

имел двоих детей и радостно сообщал Нине, что останавливаться на достигнутом они с женой точно не собираются. Он был довольно успешный живописец, в последние несколько лет неожиданно и быстро ставший популярным, нещадно эксплуатируя псевдорусскую тему, которая потихоньку начала входить в моду. Жена его, высокая волоокая красавица, дом вела умело и грамотно: нужные люди, красивые вещи, обильные столы... Спецшколы, музыка и бассейн для детей. Уверенная, четкая, собранная женщина. Надежный тыл и оплот. Лучше жены не найти. И он и не искал. Что его связывало с одинокой, неустроенной и вечно тоскующей Ниной? Духовная общность – он любил точные формулировки. Жена его была далека от терзаний и творческих мук. Наверное, ему было необходимо нечасто, примерно в две недели раз, зажечь в полуподвале мастерской свечи, налить в узкие бокалы (эстет) вина, взгрустнуть и задуматься о смысле жизни. И чтобы рядом непременно была женщина – тонко чувствующая и, безусловно, влюбленная. Читающая, например, печально и нараспев Ахматову или Блока. И чтобы тихо, чуть приглушенно, звучала музыка – Брамс или Вивальди.

Нина сидела на диване, обхватив руками колени, держала в тонких пальцах бокал с вином и читала чуть срывающимся голосом любимые стихи, он устраивался напротив в большом и уютном кресле, закрывал глаза и в такт музыке покачивал головой. Потом он садился в новенькую «Волгу» и торопился домой – к борщам и пирогам. К уюту и спокойствию. К теплым тапочкам и телевизору. К чему привык и без чего не мыслил жизни. А Нина оставалась одна – застилала кровать, тушила оплывшие свечи, мыла бокалы и убирала пластинки в конверты. Потом надевала сапоги, застегивала пальтецо и выходила в стылую ночь.

Ехала на окраину, в далекий спальный район. От последней станции метро – еще почти полчаса на автобусе. Жила она с вечным подкаблучником-отцом и вредной и болезненной мачехой, никак не рассчитывавшей на то, что нелюбимая падчерица до зрелых лет задержится в девках и «останется камнем на шее до таких вот лет». Мачеха мечтала о спальне – полированной, темно-коричневой. С широкой кроватью с резной спинкой и обязательно с пышным розовым шелковым покрывалом с оборками, а также с большим и глубоким шкафом и, конечно, с трюмо. А вторую, маленькую, комнату по-прежнему занимала «неудачница» Нина.

Официантка Зойка, собрав после ужина со столов посуду, устало опустилась на стул, пристроив худые ноги в толстых шерстяных носках на табуретку, и затянулась сигаретой.

– Сделай кофейку, Игнатьевна! – попросила она повариху.

Домой Зойка не торопилась. Что там, дома? Вечно недовольная мать и сынок Вовка, бездельник и балбес, с очередной двойкой в дневнике. Надоело все до смерти! Обрыдло просто.

Игнатьевна щедро кинула в стакан две ложки бразильского растворимого, спасибо, есть свои люди на базе, нарезала щедро сыру с колбасой и плюхнула перед Зойкой тарелку.

Зойку она жалела – дерганая, тощая, несчастная. Только Игнатьевна была в курсе, что своего непутевого Вовку Зойка родила девять лет назад от заезжего художника. Он про это так и не узнал. Да и вообще, всю эту бородатую шатию-братию Игнатьевна не уважала, даже слегка презирала, считая их бездельниками.

Еще Игнатьевна обожала индийские фильмы и рассказы о любви. Например, про Зойкин роман с тем, из Москвы. Зойка все вспоминала, что он называл ее музой и даже писал ее портрет. Потом, правда, сказал, что не получилось, и порвал его. Зойка тогда три дня редела. Очень ей хотелось, чтобы после их любви остался хотя бы портрет, а остался сын Вовка – смешной и конопатый и, конечно же, самый любимый, но портрета все равно было жалко.

У Зойки хоть и не было портрета, но был сынок – плоть и кровь, надежда на старость. А вот у Игнатьевны не было никого, кроме троюродной сестры, живущей в деревне. Зато у Игнатьевны имелся крепкий и теплый дом, большой цветной телевизор и немецкий палас на стене. И даже югославская полированная стенка, добытая в Москве с бешеным трудом и за бешеные же деньги. Раз в две недели Игнатьевна собирала тяжеленные баулы и на двух автобусах тащила к сестре в деревню. Та равнодушно разбирала сумки и, прищурившись, приговаривала:

– Все ворует? Сама уже сожрать не можешь, а все хапаешь!

Игнатъевна плакала и клялась себе, что больше к сестре не поедет. Но проходило две недели, и она опять собирала сумки. А куда деваться? Одна на всем белом свете. А тут какая-никакая, а родня.

Зойка шумно, с прихлебом, пила кофе и обсуждала вечерний скандал.

– Жалобу они напишут! Испугали! – возмущалась она.

Но это была, конечно, бравада, за места в столовой держались крепко. Попробуй выжить, когда в магазине один маргарин и томатная паста.

– А эта кобыла Власова! – продолжала возмущаться Зойка. – Скоро в дверь не пройдет, а все туда же! Мясо ей подавай, кобыла толстожопая!

Игнатъевна пила чай вприкуску и кивала.

– Нет, правда, совсем обнаглели! Сидят тут на всем готовом и ни черта не делают. Здесь им не ресторан, а Дом твор-чест-ва, – по складам произнесла официантка. – Вот и творите на здоровье! Вас сюда работать прислали, а не деликатесы жрать! – обращалась Зойка к предполагаемому народу, кивая пустому залу столовой.

Допив кофе и повыступав, она стала собираться домой.

– Возьми тут, – кивнула Игнатъевна на коричневую клеенчатую сумку. Там стояла банка с винегретом, лежало несколько кубиков сливочного масла и небольшой брусок сыра.

– Вот и ужин, – всхлипнула Зойка. – Спасибо тебе, Игнатъевна! Пропала бы я без тебя.

– Иди уж, – смущенно махнула рукой старуха, – поторапливайся!

Вздохнула, глядя на понурую Зойкину спину, и перекрестила ее вслед. Жалко, конечно, девку, пострадала она за любовь. И теперь не одна, а с дитем. Смахнула слезу и засобиравалась домой.

А Зойка, загребая размокшую под ногами грязь, медленно брела по темным улицам, думая о несправедливости жизни и жалея себя, одинокую и никому не нужную. Никем не понятую и всеми обиженную – злобной Лидкой Власовой, вечно недовольной матерью, двоечником Вовкой и директором Петром Гаврилычем, от которого вечно получаешь выговоры и тычки. Ни единого доброго слова ни от кого. Выживай как знаешь. И никому ты, по большому счету, не нужна. А ведь была когда-то Зойка звонкая и веселая. Громче всех пела в хоре про любовь и верность. А где они, эта любовь и эта верность? Только в песнях, книжках и художественных фильмах. А в жизни... Одна морока и разочарование. И все.

Нина проснулась рано, от холода. Потрогала ледяной нос и укрылась одеялом с головой. Вылезать из постели не хотелось, но через двадцать минут начинался завтрак, а потом надо было идти работать.

С лицом оскорбленной добродетели и поджатыми губами Зойка разносила завтрак – тарелки с застывшими «блинчиками» манной каши. На каждом столе стоял алюминиевый чайник с жидким какао.

Вошла Лида Власова и под села к Нине.

– Грустишь? – поинтересовалась она.

Нина кивнула и махнула рукой.

– Приходи сегодня вечером ко мне, – сказала Лида. – Чайку погоняем, винца попьем. А то совсем скука смертная. Работа не идет, на душе тоска.

– Это точно, – согласилась Нина.

После завтрака она пошла в мастерскую, села на стул и с грустью оглядела свои творения. Тяжело вздохнув, взяла в руки пузатый чайник и попыталась представить, в каком цвете ей хотелось бы его увидеть. Посмотрела в окно и увидела, что за ночь почти облетел раскидистый и высокий клен. Моросил мелкий занудный дождь, а потом с неба густо посыпалась мелкая белая крошка.

«Скоро, совсем скоро зима», – подумала Нина. Ей вспомнились строчки забытого стихотворения: «А с неба сыпалась, летела сухая белая крупа. Как знать, чего от нас хотела любовь, которая слепа».

Она задумчиво повертела в руках уже обожженный черепок и взяла тонкую кисть. Потом приготовила белила и кобальт. Никаких охры и кадмия – только радующие глаз яркие цвета. Постепенно на чайнике расцветали белые и синие хризантемы. Нина поставила чайник перед собой, оглядела и, кажется, осталась довольна. Затем опустила расписанный чайник в чан с молочной глазурью и оставила его подсыхать, а потом принялась за чашки и блюдца. Вечером она включит печку и отправит туда все это хозяйство – а завтра утром появится новый сервиз. И называться он будет так: «Зима. Настроение».

Нина работала так увлеченно, что забыла про все свои беды и горести. Ей хотелось поскорее разобраться с чашками и взяться за поднос. Расписывать подносы она любила больше всего. Крученые витые ручки подноса должны быть обязательно синего цвета, а поле ей захотелось сделать белым и непременно с серебром. Да, да, обязательно тонкие серебристые листья – зимнее настроение, радость и ожидание, никакой угрюмости и депрессии. Ведь зима – это уже надежда на весну. Как говорила Нинина бабушка, переживем зиму, а там и переживем все остальное.

В столовой Зойка резала хлеб и разливала в граненые стаканы тягучий бурый кисель.

– Все, скоро жди нашествия, – зло шипела она.

Громко из зала рассказывала Игнатьевне, что ее опять вызывают к Вовке в школу:

– Достали – дальше некуда. Учительница – старая крыса, и ей обязательно надо отнести коробку конфет. А где ее взять? Ты бы, Игнатьевна, помогла, а? Ну, через базу?

– Сделаем, – кивнула Игнатьевна.

Зойка тяжело вздыхала.

После обеда многие расходились по номерам, поспать. А Нина решила прогуляться. Город был пуст и тих.

– Сиеста, – усмехнулась она.

В магазинчике она купила твердое овсяное печенье и липкую карамель без обертки, посыпанную сахаром. В киоске взяла свежие газеты, а в винном, отстояв приличную очередь, – бутылку любимого венгерского «Токая» – недешевого, потому не пользовавшегося спросом у местного населения.

Вернувшись, зашла в мастерскую, проверила печь и пошла в номер – поваляться и почитать.

Вечером собрались у Лиды. В комнате Лиды было тепло – работал калорифер.

– Ну, Лидка, ты даешь! – восхитилась Нина. – Это ведь строго запрещено, – она кивнула на обогреватель.

– В гробу я их всех видала, – буркнула Лидка. – Что ж, теперь из-за их экономии всем тут околеть?

Заварили крепкого чаю, нарезали сыра и открыли вино. Лида жаловалась на мужа. Муж-инженер получал совсем мало, но, правда, следил за детьми. А их у Лиды, между прочим, было трое.

– Я в доме мужик, – вздыхала Лидка. – И ремонт, и машина, и деньги – все на мне. А он моет посуду и проверяет у детей уроки.

Лида глотнула вина и затянулась сигаретой.

– Тоже хорошо, – улыбнулась Нина.

– Хорошо, – грустно кивнула Лида. – Только очень хочется бабой побыть, понимаешь? Ну, чтобы пожалели, по головке погладили. Ты посмотри, какой у меня плечевой пояс. А какие ручищи? А ведь хочется быть тонкой, звонкой и

прозрачной. Женщиной, понимаешь?

Нина кивнула.

– Ну все-таки не гневи бога, Лидка! Какой-никакой, а муж. И детишки прекрасные. И квартира, и машина. И заказы, слава богу, есть.

– Есть, – согласилась Лида. – Только мне до тошноты надоели сталевары и Ильичи. И колхозные съезды, и детские площадки. Ты хоть от души посуду свою малюешь.

– Это да, – кивнула Нина. – Только ведь знаешь, как все это продается. Салоны берут плохо, а частники хотят немцев или японцев. Им вся эта авторская байда по барабану.

Лида разлила по стаканам вино.

– За нас, красивых!

Обе чокнулись и рассмеялись.

– Да и потом, какая из меня принцесса? – Лида вытянула перед собой свои крупные красноватые руки с коротко остриженными ногтями. – А тебе, Нинок, замуж надо, – посерьезнела Лида. – Хватит на этого кобелюку время тратить. Замуж и рожать. Поезд-то от перрона почти отошел. Гляди, и совсем уедет.

– За кого замуж? – удивилась Нина. – Можно подумать, за мной очередь стоит.

– Ну тогда рожай! – продолжала настаивать Лида. – А то и это прозеваешь. Бабий век, он знаешь какой?

– Куда рожать, Лида? Ни денег, ни квартиры. Ты же мою ситуацию знаешь. А потом, любовь, Лида. Понимаешь?

– Бред! – резко бросила Лида. – Вот только этого не надо! Придумала себе сказочку про белого бычка и слезами умываешься. А надо все бросить к черту и оглядеться вокруг. Вон сколько мужиков бесхозных шляется! Только рукой

махни.

– Ты меня сватать взялась? – рассмеялась Нина.

– А что, может, и сватать! Есть тут один на примете, Ваня Скориков. Год назад с женой развелся. Детей нет. Тихий, спокойный, непьющий. Комната в центре. Хочешь, позову? Вместе посидим.

– Лида, извини, но это все напрасно, – твердо сказала Нина.

– Хозяин – барин, – пожала плечами та. – Не хочешь, как хочешь. Только, моему, зря.

Вечер был скомкан. Допив бутылку вина, Нина засобиралась к себе.

«Ну что я злюсь на Лидку? – подумала она. – Человек ведь мне добра хочет». И еще подумала, что ей очень хочется спуститься к автомату и позвонить любимому. Но наверняка трубку возьмет жена, или она просто будет рядом, и он, как всегда, не сможет говорить. Разговор получится пустой, и она окончательно расстроится. Еще Нина подумала о том, что ей надоело страдать и хочется тихой радости и покоя – надоели бесконечное вранье и неопределенность.

На тумбочке стояла фотография любимого. Нина взяла ее в руки, почему-то долго и внимательно разглядывала, а потом вздохнула и перевернула лицом к стене.

Наутро тучи раздвинулись, и выглянуло неяркое солнце. Нина вошла в столовую и огляделась. Ваня Скориков пил чай и задумчиво смотрел в окно. Нина ему кивнула и почему-то очень смутилась. За столом у стены сидела Лида Власова и мрачно и сосредоточенно жевала.

– Что-то не так? – поинтересовалась Нина.

– Работа не идет, – кивнула Лида. – Ну совсем. Третий эскиз ломаю, а скоро комиссия. Выпрут меня отсюда к чертовой матери! Домой звонила – там все мои разболелись. Буду в Москву собираться. Что за жизнь хренова! То вдохновения,

видите ли, нет, то дети мешают, то начальство давит, то квитанции неоплаченные, а то, прости господи, месячные – и опять никакого настроения. – Лида горестно вздохнула и с силой шмякнула чашкой об стол. – Чтобы работать, нужен рай в душе. А где его взять?

«Даже для ее молотобойцев нужен рай, – удивилась Нина. – А я-то думала, что у Лидки все просто и четко».

В мастерской она открыла муфельную печь и вынула уже готовый сервиз.

«Красота! – улыбнулась она. – Здорово получилось! Это, пожалуй, сразу улетит».

Теперь Нине захотелось сделать вазу – тонкую, высокую, с узким и неровным горлом. Серебристо-синюю, под сервиз.

Она взялась за дело и так увлеклась, что пропустила обед. После ужина надела куртку и резиновые сапоги и пошла в город.

На улице дул сильный, промозглый, пробирающий до костей ноябрьский ветер. Хотелось поскорее вернуться домой. По дороге она зашла в библиотеку и взяла рассказы Токаревой. Это точно поднимет настроение.

Дома зазнобило, и сильно захотелось пить. Она потрогала лоб и поняла, что заболела. Из лекарств в сумке валялся один анальгин. Нина накинула халат и пошла в столовую, попросить чаю. Зойка стояла уже одетая и собиралась закрывать дверь.

– Чего еще? – недовольно спросила она.

– Чаю, если можно, – пролепетала Нина.

– Какой чай? – возмутилась Зойка. – Титан давно остыл.

Нина кивнула и поплелась в номер. Она все никак не могла согреться и натянула на себя две пары носков и теплый свитер.

Разбудил ее стук в дверь. На пороге стояла Зойка и держала в руках чайник и банку с вареньем.

– На вот, – смущенно сказала она. – Выпей горячего. Свежий заварила. Индийский. «Три слона». И варенье тут, клюква. Не малина, конечно, но тоже хорошо.

– Спасибо тебе! – пролепетала растерянная Нина и присела на кровати. Зойка налила в кружку горячий ароматный чай.

– Пойду я, – сказала она. – Дома сын ждет. Да и заражусь, не дай бог. А мне на больничный никак нельзя. Игнатьевна одна не справится.

– Спасибо тебе большое! – повторила Нина и заплакала.

– Да ладно, чего там, – смутилась Зойка. – Что мы, не люди, что ли?

«Господи, и вправду люди, – подумала Нина. – Вот как, оказывается, бывает». Она напилась чаю и понемногу согрелась.

Ночью Нину бил сильный озноб, а утром, как положено, заболело горло и полило из носа. «Только этой напасти сейчас не хватало!» – подумала Нина. Работ совсем мало, а скоро комиссия. Полетят клочки по закоулочкам. Строгой комиссии наплевать на твои хворобы и душевные переживания. Наверняка будет жалоба в секцию керамистов. Ну и черт с ними! Выше себя все равно не прыгнешь.

Почти весь день Нина проспала. В остывшем чае разводила клюкву – очень хотелось пить. А вечером опять пришла Зойка, принесла пюре с котлетой и аспирин. Села на стул и достала из сумки бутылку водки.

– Лучшее лечение, – уверенно сказала она.

Нина пить не хотела, но и обижать официантку тоже было ни к чему. Заботится ведь искренно, а совершенно чужой человек. Нина вообще забыла, чтобы кто-то о ней так заботился.

Выпили по первой, закусили котлетой. Выпили по второй, и пошел обычный бабский треп – про жизнь, про мужиков. Рассказывали горячо, перебивая друг друга и перескакивая с одного на другое.

Зойка всплакнула и принялась жаловаться на мать и сына. Нина рассказала про мачеху и отца. Жалились друг другу на вечную нехватку денег, а хочется так много – новых сапог, пальто и сумочек... Зойка разливала водку и звонко чокалась. Закусывали остывшей картошкой.

Потом Зойка поведала Нине свою главную тайну. Про короткий, всего в два месяца, роман с московским художником. Про то, что любила его без памяти, а он так, время проводил. Она, конечно, все это понимала, но устоять не смогла.

– А здесь какие женихи? – говорила Зойка. – Пьянь одна. Ну, вышла бы я за Мишку или за Генку, всю жизнь бы маялась. Все тут пьют, понимаешь? Все до одного. А кто не пьет, за того бабы держатся будь здоров, ни за что не отпустят. А этот внимательный был, – глядя в окно, нараспев продолжала она. – Заботливый. Все спрашивал: «Хорошо ли тебе, Зоя, со мной?» А мне было так хорошо, – Зойка выпустила изо рта тонкую струйку дыма, – так хорошо, что после его отъезда жить не хотелось. Хоть в петлю лезь. Может быть, и влезла бы, только поняла, что залетела, – это и спасло. Думала, ребеночек от него родится умненький, он про своих детей все хвастал, а родился балбес, весь в меня, наверно.

– Ну, хоть родился, слава богу, – заметила Нина. – И мать тебе помогает. И дом свой. А я? Ни детей, ни квартиры.

– Так рожай! – сказала Зойка. – Вырастишь как-нибудь. И в войну рожали.

– Не справлюсь я, Зой. И помочь некому. Вот если бы мама была жива! – Нина горько расплакалась.

– А этот, ну, твой? Не поможет? Ведь ты говоришь, не бедный.

Нина усмехнулась.

– Да этот «не бедный» сбежит в этот же день, как только узнает. У него семья, дети. Жена прекрасная. На черта ему проблемы?

– Сволочь он, – уверенно припечатала Зойка.

Нина пожала плечами и согласилась:

– Наверное, да.

– А я думала, что все вы там, в Москве, счастливые. Не то что мы здесь, в забытом богом месте.

– Дурочка ты! – улыбнулась Нина. – Где ты видела этих счастливых? Вон Томка, гобеленщица, одна двоих детей тянет. И у Лиды Власовой забот не оберешься. А ты – «счастливые»!

Зойка тяжело вздохнула и подошла к Нининой тумбочке забрать тарелку. На пол легко слетела фотография, накануне отправленная в немилость. Зойка нагнулась и подняла карточку с пола.

– Это кто? – спросила она каменным голосом.

– Он самый, – вздохнула Нина.

Зойка медленно опустилась на стул.

– Он самый, говоришь?

Нина кивнула. Зойка молча сидела и вертела фотографию в руках.

– Значит, он самый, – тихо повторила она. А потом тихо произнесла: – Точно, он самый. Что ни на есть собственной персоной. Постарел, конечно. Но взгляд тот же остался, такой же, кобелячий.

Нина удивленно смотрела на Зойку и ничего не понимала. Зойка подняла на нее глаза.

– Отец это Вовки моего. Понимаешь? Ну, тот самый, из Москвы, про которого я тебе говорила.

Нина закашлялась и села на кровати, испуганно глядя на Зойку.

– Так-то, подруга, – задумчиво произнесла Зойка.

Они молчали. Долго. Наверное, полчаса, а может, и больше. Потом вдруг Зойка рассмеялась. Да что там рассмеялась, просто начала хохотать. В голос. Потом засмеялась Нина. А потом они вместе дружно разревелись.

Зойка разлила остатки водки и с сожалением потрясла пустой бутылкой. Потом они сидели на Нининой кровати обнявшись и снова то плакали, утирая друг другу слезы, то начинали хохотать как ненормальные.

А потом Зойка затянула песню. Пела она чисто, низким и правильным голосом.

– Миленький ты мой, – тщательно выводила Зойка, – возьми меня с собой! Там, в краю далеком, буду тебе женой.

Следом, немного фальшиво, тонким голосом вступала Нина:

– Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня жена!

Потом Зойка уложила Нину, взбила подушку и, как маленькую, укутала одеялом. Всклипывая, Нина отвернулась к стене и мгновенно уснула. Зойка собрала посуду и остатки ужина, на цыпочках, осторожно вышла из комнаты и плотно прикрыла дверь.

Наутро Нина проснулась поздно. Пошмыгала носом, потянулась и поняла, что почти здорова.

«Но сегодня еще поваляюсь. Имею право», – выписала она себе индульгенцию. Еще раз сладко потянулась, закрыла глаза и решила подремать.

Дверь бесцеремонно распахнулась, и на пороге появилась всклокоченная Зойка с подносом в руках. На подносе стояла тарелка с глазуньей, сыр, хлеб и стакан

чая, от которого шел уютный парок. Без «здрости» и «как дела» Зойка смущенно брякнула поднос на тумбочку и бросила:

– Дел много, тороплюсь.

Нина кивнула и тоже смущенно пролепетала:

– Спасибо!

У двери Зойка обернулась, пробормотала:

– Ой, чуть не забыла! – И вынула из кармана передника большой апельсин. – Это не от меня, – честно призналась она. – Это Ванька Скориков тебе передал. Где взял, не знаю. У нас их сроду тут не было.

– Возьми его Вовке, – сказала Нина.

– Ну уж нет! – улыбнулась Зойка. – Это тебе, ты у нас болезная. А потом, он со значением тебе передал. И еще привет и скорейшего выздоровления! – Зойка улыбнулась и подмигнула.

Нина поняла, что очень голодна, с удовольствием съела яичницу и корочкой до блеска подчистила тарелку. Потом лежала и почему-то смотрела на апельсин. Спать совсем расхотелось.

На улицу она вышла через два дня. Погода стояла тихая и безветренная. Небо было голубое и яркое, а на деревьях тонким слоем лежал первый снег.

Нина спустилась с пригорка и увидела, что на полустанке, готовый к отправлению, стоит паровозик «кукушка». Она заторопилась и, слава богу, успела.

В вагоне, на деревянной скамье, она увидела Ваню Скорикова, а он увидел ее и улыбнулся. Почему-то смущаясь, Нина подошла к нему и села рядом. Паровоз дал три сиплых гудка и, тяжело бряцая колесами, медленно сдвинулся с места.

– Ну вот, – улыбнувшись, сказала она. – Вот и маленькое путешествие.

Ваня кивнул:

– Маленькое. – И добавил: – Пока.

Нина покраснела и отвернулась к окну.

– Ой, да, спасибо за апельсин! – спохватилась она.

– Какая ерунда! – теперь покраснел и смутился он.

Они молчали, а паровозик, медленно, с трудом пытался набрать скорость и хоть для порядка разогнаться.

Впереди лежало Плещеево озеро и голубел на пригорке еловый лес. И может, еще много другого было впереди. Кто знает? Но двое, сидевшие рядом на жесткой скамье в маленьком тряском паровозике, почему-то одновременно подумали об этом.

Странная женщина

День Рождения

Она смотрела в окно своей спальни. Смотрела на всю эту шатию-братию, без дела мотающуюся по участку. Кто-то сидел в плетеном кресле, кто-то трепался, кто-то потягивал вино или пиво. И все, разумеется, ждали. Ждали, когда со второго этажа спустится именинница и их наконец пригласят за праздничный стол.

«Истомились», – подумала она и усмехнулась.

Потом тяжело вздохнула и в сотый раз подумала: «Какая я дура! Какая дура, что поддалась, согласилась. Прогнулась – как говорят нынче. Она! Железная леди, дамасская сталь. Непримиримая Снежная королева».

Прогнулась. Конечно же, только из-за любимой дочурки. Только она имела способность воздействовать на «железную» мать. Только ей та противостояла с трудом.

Что поделать – и у «стальной пружины» бывают слабости.

Да и аргументы, конечно. Пятьдесят, такая дата, юбилей, что говорить. Сороковник не справляли, была отмазка – сорок лет не отмечают, такая примета. А уж промежуточные – вообще смешно! Сорок пять тоже, слава тебе господи, проскочили – грех, конечно, так говорить, но – обстоятельства! Муж тогда загремел в больницу, ничего, слава богу, серьезного. Обошлось.

Он тогда пошутил: «Когда в моем возрасте удаляют только аденому простаты, а все остальное оставляют на месте, – уже огромное счастье!»

Он вообще умел пошутить, ее муж. На том, собственно, и держались.

Так вот, дочь настояла, да. Просто весь мозг вынесла – требовала фейерверков, анимаций и бурных оваций. Муж ее, разумеется, поддержал. Они с ним всегда были на одной волне.

Она даже слегка ревновала. Потом, когда она наконец согласилась, посыпался ворох предложений – одно нелепей другого. Например, поехать на экзотический остров в семейном составе. Или – в Париж. «Хочешь, мамуля, в Париж? День варенья же, мам!»

Нет. Вот туда она не хотела определенно. Париж был исхожен вдоль и поперек – ничего нового. Хотя Париж есть Париж, что говорить... А в Лондон? Как насчет туманного Альбиона?

Ну его к черту! Какой Альбион, были там раз пять, и все не везло с погодой. Дальше еще страшнее – полет на воздушном шаре, альпинистскими тропами на Памир, сплав по горной реке в каком-то катамаране – короче, полный ужас.

Дочка была креативной затейницей. И вообще веселухой. Точно не в мать.

Из всего того кошмара, что она предложила, оставалось одно – обычный банкет на даче. Все, точка. Твой креатив, детка, не для меня. И перестань веселиться! Дурочка просто, ей-богу...

Ладно, все смирились, общий знаменатель был найден. Банкет на даче – легкие закуски, все, разумеется, будет заказано в ресторане, барбекю – приглашен кавказский умелец, проверенный друзьями. Два официанта – накрыть, подать и убрать. Не так дорого, кстати. И все совершенно свободны!

– Валяйте, – устало согласилась она, – вы ж все равно не отстанете!

Она слышала, как муж и дочь шушукаются по углам. Снова вздыхала – господи, напридумают ведь все равно какой-нибудь чуши, дурацких сюрпризов. Знает она своих родственников! Банкетом не успокоятся, нет. Что же – это надо просто пережить, и все. Как нервная невеста переживает свадебную подготовку и суету.

Ладно, переживем. Ведь, в конце концов, родные люди стараются. Только... как же она не любит всего этого. Просто до дрожи не любит, такие дела.

В дверь постучали. Муж. Дочь врывается вихрем, ничего с ней поделаться нельзя, как ни пыталась отвоевать право на личное пространство и частную, приватную, как говорят сейчас, жизнь. Хотя смешно – какая там у нее частная жизнь! Обхихикаться просто.

– Входи, – крикнула она мужу.

Он вошел. Как всегда – подтянутый, интересный, из тех, кому годы только на пользу. Седой ежик волос, смуглая кожа, тонкие очки. Ни грамма жирка – просто американский сенатор из одноименного фильма. Серые брюки, голубая рубашка, серая бабочка. Мечта, а не мужчина, что говорить.

– Владка, пора! – вздохнул он и посмотрел на часы. С укором, надо сказать. С едва заметным укором.

– Скоро начнутся голодные обмороки, – пошутил он, – да и вообще, неудобно.

Она кивнула, вздохнула, пройдя мимо зеркала, поправила прическу, «дала» задора во взгляде и кивнула:

– Ну двинули! Ух!

Раньше сядешь – раньше выйдешь, как говорится.

Встретили, разумеется, аплодисментами. И пошло-поехало. От комплиментов сразу начало подташнивать. А ведь будут еще и здравицы. Тосты и пожелания. Стихи, не дай бог!

Гости, как на подбор, были умны, остроумны и велеречивы. Интеллигентная и небедная публика, куда деваться.

Домработница хлопотала с цветами – ваз, как всегда, не хватало, и заполошная, несчастная Верочка ожесточенно рассовывала букеты в пластиковые ведра и трехлитровые банки. На отдельном столике, под сиренью, пестрели коробки с подарками, перехваченные атласными лентами, некоторые даже с привязанными игрушками. Чушь, ей-богу. Бабе полтинник, а там плюшевые зайчики и медведики. И кому это пришло в голову? Кто изменил традициям и вкусу? Ладно, бог с ними, с медведями.

Столбы были накрыты. Она бросила взгляд – красиво. Не придерешься, красиво. Сиреневые скатерти, тарелки и бокалы в цвет, все декорировано букетиками фиалок, перехваченными белыми лентами. Еды навалом, довольно отметила она, а это главное. Она всегда боялась, что гости уйдут голодными. Это было семейное – так же кряхтела и беспокоилась мама, нервно оглядывая накрытый стол, и бросалась на кухню: «Надо еще отварить картошечки – на всякий случай». И это притом, что на столе стояло штук шесть салатов в хрустальных салатниках, рыба, селедка, соленья, домашние пирожки и прочее, прочее. А в духовке уже румянилась утка или баранья нога.

Родителей не выбирают

Отец скандалил и называл мать «законченной душой». Мать пропускала мимо ушей, никогда на него не обижалась, только махала рукой и принималась за чистку «картошечки».

Сумасшествие, конечно. Семейное сумасшествие. Такой же была и бабушка, мамина мать.

Гости, конечно же, объедались и еле выползали из-за стола. Еды оставалось море, и мать начинала всем собирать «кульки». Свертки пирожков, банки с салатами, остатки бараньей ноги или «гусочки». Мать была простая, деревенская. А отец был москвич – из генеральской семьи. Их брак был объявлен мезальянсом, но прожили они долго, до самой старости, вопреки предсказаниям генеральской родни.

В юности Влада удивлялась: они совсем не сочетались – отец и мать.

Мать была и вправду простовата. А потом поняла – отцу так было удобно. Мать хозяйничала, растила детей – ее, Владу, и брата. Никуда особенно не лезла – летом крутила компоты, варила варенья, солила и мариновала. Она всегда была при деле, ее тихая мать, – с утюгом в руках, с тряпкой, со шваброй.

А отец жил своей жизнью – работа, охота, рыбалка, банька с друзьями. Потом Влада, уже взрослой девицей, случайно узнала, что у отца всю жизнь параллельно была другая семья.

Точнее, другая женщина. Но к ней он не ушел. Вот странно даже, а почему? Там ведь явно была любовь. А что еще? Ну или страсть, как хотите. Женщину эту Влада увидела. Красавица. Умница и красавица. Без дураков. А жизнь он прожил с женой. Мать ушла первой, совсем не старой, в шестьдесят восемь. А с той женщиной он так и не сошелся – говорил, что привычки менять поздновато. Но жизнь странная штука. Странная, нелепая и жестокая – та дама ушла следом за матерью, через девять месяцев. Было ей, наверное, всего-то под шестьдесят.

И семидесятидвухлетний отец остался один. Влада тогда подумала – наказание. Ему наказание. А этим двум женщинам? Наверняка мать обо всем знала. Не могло быть иначе – отец ездил в отпуск с той дамой, брал ее с собой в командировки – попадались какие-то редкие фотографии из разных мест,

правда, на них было много разных людей, но даму ту углядеть было нетрудно.

Значит, мать знала. Знала и молчала. Точнее – помалкивала. Чтоб не гневить. Отец был горяч и гневлив. И очень суров.

А та? Всю жизнь ждала. Вся жизнь в ожидании. Придет – не придет. Возьмет – не возьмет. Останется на ночь или обратно в семью. А праздники? Новый год, октябрьские, майские?

В праздники он всегда оставался в семье – это святое.

Всю жизнь как транзитная пассажирка. А ведь могла устроить личную жизнь. Наверняка. Потому что красавица. И умница точно – главврач столичной больницы. Детей не родила, гнездо, которое наверняка упорно свивала, не пригодилось. И даже на старости лет ей не было отпущено покоя и счастья – похоронив жену, вдовец вещички не собрал и на порог не явился. А ведь наверняка ждала. Ждала и надеялась.

После ее смерти года через полтора папаша женился. Точнее, сошелся с женщиной. Тоня была соседкой по дому. Мать с ней когда-то дружила. Они были в чем-то похожи – Тоня была женщина простая, бесхитростная и хозяйственная.

Никто и не скрывал, что и папаша, и Тоня жизнь свою устраивают. Никто не осуждал – все понимали. А вот то, что с Тоней отец вдруг расцвел и ожил – удивились многие. И Влада в том числе. Жили они дружно – так дружно, как не жили с матерью.

Ворковали аки голубки. Вместе на рынок, вместе в магазин и в аптеку. Вместе у телевизора – за просмотром идиотских бразильских сериалов, которые отец всю жизнь презирал и насмехался над матерью. Теперь они вместе крутили запасы на зиму, и папаша завел блокнотик, где записывал все достижения: огурец соленый – десять банок, помидор маринованный – пятнадцать, патиссон острый – семь. Дунайский салат, лечо, ну и так далее.

Влада смотрела на все это и только дивилась. Кудесница-жизнь.

Набегался кобель и успокоился – наверное, так.

Отца, кстати, она никогда не любила. Да, грустно...

Куда деваться – гуляем!

Расселись за пышные столы. Она оглядывала гостей. Знакомые, близкие и не очень. Точнее, приятели не первого круга. Сотрудники мужа, его родня, приятели дочери – этих немного, человек семь, не больше. А вот мужниной родни навалом. Семья у него была огромная, разветвленная и довольно дружная – сестры, братья, племянники с семьями. Тетушки с дядюшками, ох.

А у нее один младший брат. И тот из рук вон. Володя всегда был человеком слабым и неудачливым. Два нелепых брака, двое детей, с которыми бывшие жены ему не давали встречаться. Дурацкие любовницы – обязательно со шлейфом скандалов и дразг. С работой тоже сплошная неразбериха – отовсюду его увольняли, везде «подставляли» или вдруг неожиданно закрывалась обанкротившаяся фирма, не выплатив пару месячных зарплат.

Словом, типичный лузер.

Она, конечно, всегда старалась помочь. Но брат раздражал ее чрезвычайно. Он так легко смирялся со всем, не пытаясь бороться и даже сопротивляться, что очень напоминал ей наседку-мать. Она-то сама пошла в папочку.

Брат еще не явился. Пунктуальности в нем тоже не было ни на грош.

Дочь тревожно спрашивала ее взглядом – ну как? Нравится? Все ли в порядке?

Она ей улыбнулась – да, все хорошо, милая. Замечательно просто. Расслабься и получай удовольствие.

А я... да тоже переживу. Не такое переживали. Все ведь проходит, правда?

Нет. Проходит не все. Совсем не все, моя милая.

Увы, моя детка. Увы!

Вся жизнь впереди, надейся и жди!

Восемнадцать. Что может быть лучше, чем восемнадцать? Когда ты красива как роза и как роза свежа. И когда впереди целая жизнь. Долгая, длинная. Бесконечная. И очень счастливая.

Ты так ждешь ее, так жаждешь, так торопишь года! Тебе хочется прыгать от шальной радости, захлебываться от восторга. А неудобно. Тебе ведь уже восемнадцать!

А рядом с тобой – совсем рядом, ближе, чем протянутая рука, ближе, чем стук твоего сердца, чем твое свежее юное дыхание, он – твой любимый!

То, что самый лучший на свете, нечего и обсуждать. Нелепо просто говорить об этом! Неловко.

Он рядом, и все прекрасно – и дождь, и холодный ветер.

Прекрасные, кстати, стихи. Только ни дождя, ни холодного ветра – июль.

Жарковато, но кого в восемнадцать это пугает?

Они сидят на скамеечке в Парке Горького. Впереди серая река, мутноватая вода чуть колышется – совсем чуть-чуть, почти и не видно. Пахнет шашлыками и прибитой неспешным дворником пылью из шланга.

Они сидят молча, обнявшись. Она доедает мороженое. Любимое – «Ленинградское». Он «не потребляет». Он вообще не ест сладкого. Говорит, что ему невкусно.

– У тебя странный вкус, – удивляется она, – горько-кислый. Ужасный!

Он кивает и соглашается:

– Ужасный, чистая правда. Ну, раз я выбрал тебя.

– Я про неспелый крыжовник и кофе без сахара, – говорит она.

И они заливаются смехом. Таким звонким счастливым смехом, как смеются только в юности. На них обращают внимание.

А им наплевать. Абсолютно, категорически. Им наплевать на все и на всех.

Кроме друг друга.

Друг к другу они нежны. Даже прислушиваются к дыханию друг друга. Им это важно. Они ловят взгляд друг друга. Это тоже так важно, что прямо...

Нет ничего на свете важнее. Нет вообще ничего важнее, чем они. И еще – их любовь.

Вот это самая важная штука. Самая важная вещь. И ничего, кстати, смешного!

Влюбленные – они ведь такие. Могут обидеться.

Только с ним она примирилась со своим именем. Он сразу назвал ее Влада. А на самом-то деле она была Владлена. Папуля изощрился, чтоб его. Мать рассказывала, что хотела назвать ее Дашей. В честь бабушки. А тут подключился папуля, и, разумеется, мамино предложение было тут же снято – с мужем она не спорила. Ни по каким вопросам. Отец называл ее всегда полным именем – Владлена. Лет в десять она узнала, что это означает «Владимир Ленин». Кошмар. После этого свое имя она стала ненавидеть сильнее. А он, ее любимый, вдруг сразу назвал ее Владой. Сказав, что она им владеет – навеки и безвозвратно. Влада, владелица. Владелица его души и сердца. И она примирилась тут же, а со временем даже смогла полюбить свое имя.

Став взрослой, она даже в связке с отчеством представлялась Владой – Влада Витальевна. А что, неплохо.

Познакомились они банально – на улице. Точнее, у выхода из метро. Ехали вместе от «Проспекта Маркса» до «Проспекта Вернадского». Она видела, что худой, синеглазый и симпатичный парень, сидящий напротив, внимательно ее изучает. Оторвалась от книжки и бросила на него довольно суровый взгляд. Он смутился, улыбнулся и слегка развел руками – не обессудьте, мол! Не в моих силах оторвать от вас взгляд!

Словно извинился.

А она нахмурилась и снова уткнулась в книжку. Всю жизнь она помнила этот день и помнила то, что читала – рассказы О'Генри.

Выйдя на улицу, она почувствовала, что он идет следом. Резко обернулась:

– Что вам от меня надо?

Он тяжело вздохнул и сказал:

– Все! С сегодняшнего дня и до конца жизни. Вас это пугает?

Она тоже вздохнула:

– Нет, не пугает. Это должно пугать вас и ваших родителей.

– Почему? – удивился он.

– А потому, что это – диагноз! – отрезала она. – Или несусветная наглость. Хотя вам кажется, что все это страшно остроумно, правда?

Он покачал головой:

– Ничего остроумного я здесь не вижу. И вообще, я человек серьезный. Честно. И это не мой способ знакомства.

Она досадливо махнула рукой и пошла к дому.

Он пару раз пытался завязать разговор, она что-то коротко отвечала, так дошли до ее подъезда, она повернулась к нему и сказала:

– Ну, вот. Все. Очень надеюсь, что здесь мы расстанемся. И расстанемся навек.

Он посмотрел на нее внимательно.

– А жаль, что вы не верите. Жаль, что до вас еще не дошло.

Она в изумлении приподняла брови.

– Жаль, – повторил он и улыбнулся. – Все равно. Ты. От меня. Никуда не денешься!

Она покрутила пальцем у виска.

– Ну, если вы маньяк, то, наверное, да. Только... у меня очень строгий папа. И есть еще брат.

– Разберемся, – отмахнулся он и пошел обратно к метро.

А назавтра с раннего утра он уже сидел на лавочке у ее подъезда. С огромным букетом ромашек.

Ее, кстати, любимых цветов. И как он только узнал?

Осаду она держала недолго – было лето, каникулы, почти все разъехались, а она продолжала торчать в Москве. Мать с братом сидели на даче, отец ночевал у своей зазнобы, а она, ссылаясь на неотложные дела, с удовольствием оставалась в квартире одна.

Через пару дней они гуляли по городу, ходили в кино, сидели в кафе-мороженом, ели пломбир и пили отвратительный жидкий кофе – хороший кофе тогда подавать было как-то не принято.

Ей было с ним интересно. Так интересно, как не было никогда и ни с кем. Говорили они обо всем и часами – о книгах, кино, родных. Делились воспоминаниями о детстве, не боялись открыть друг другу даже детские страхи.

Все лето они не разнимали рук. Все лето они целовались в укромных уголках. Все лето они любили друг друга и не мыслили прожить и дня в разлуке.

Однажды он остался у нее на ночь. И после этого стало только еще жарче, еще крепче, еще сильнее – все то, что происходило с ними тогда, тем самым далеким жарким летом.

А было оно, то лето? Да, было.

У всех свои горести...

Саша жил вдвоем с матерью. Отец оставил их давно – сто лет назад, как он сказал.

Втайне от матери Саша мечтал отыскать отца – просто посмотреть на него, так он сказал. Ничего не надо, просто посмотреть в глаза, и все.

В справочной им выдали четыре адреса людей, один из которых мог быть его отцом, они поехали по адресам. Он тогда признался ей, что один бы ни за что не решился.

Им повезло – его отец жил по второму адресу. Они позвонили в массивную, обитую глянцевой, в пупырышках, кожей дверь, и на пороге появилась красивая женщина с ярко накрашенным ртом, в широком, в цветах, сарафане и уставилась на них.

– Кого? Да, проживает именно здесь. А вы по какому вопросу, собственно?

Он растерялся, а Влада, взяв себя в руки, попыталась объяснить женщине в сарафане цель их визита.

Та нахмурилась, взгляд ее потемнел и не обещал ничего хорошего. В дом она их не пригласила, коротко бросив:

– А я тут при чем? Это его дела и его прошлое. Я и мой сын тут ни при чем. Хотите – ждите его во дворе. А меня это никак не касается.

Они совсем растерялись и стали быстро спускаться по лестнице.

А она крикнула им вдогонку:

– А вообще – зачем вы приходили? Денег просить, что ли?

Они не ответили и быстро сбежали по лестнице.

На улице, отдышавшись и сев на скамейку, он, очень смущенный, пытался шутить:

– И вот на этом он женился? Из-за этой вот бросил меня и ушел от моей матери? Слушай, я, похоже, совсем ничего не понимаю про эту самую жизнь!

Она утешала его, гладила по руке и умоляла уйти. А он отказался.

– Теперь нет! Теперь я еще больше хочу на него посмотреть. В глаза, понимаешь?

Она поняла – бесполезно. Спорить с ним бесполезно. И надо закрыть эту тему, вскрыв этот нарыв. Чтобы потом он не думал. Чтоб не терзался. Чтобы навеки отрезать, и все.

И они дождались. Подъехала «Волга», и из машины неспешно вылез высокий грузный мужчина. Тщательно проверил, закрыты ли у авто двери, и медленно пошел к подъезду.

Они встали с лавочки, и он решительно пошел навстречу к отцу.

Окликнул его по имени-отчеству. Тот обернулся и стал с удивлением рассматривать высокого и незнакомого парня.

Они поговорили о чем-то совсем коротко, не больше трех минут, а Влада стояла поодаль, не решаясь подойти, боясь помешать.

И увидела, как мужчина махнул рукой, недоуменно пожал плечами и, покачав головой, пошел к подъезду.

А ее любимый стоял как вкопанный, и на лице его застыла гримаса отчаяния и боли.

Она взяла его за руку, и они медленно пошли к метро. Спустя полчаса она решилась спросить:

– Ну, что? Что он сказал?

Он поморщился, словно от зубной боли.

– Он? Он сказал, что бывают ошибки. Я – это ошибка, понимаешь? Как все просто – он ошибся, и я – это ошибка!

Она прижалась к его плечу.

– Да и черт с ним. Подумаешь! Знаешь, у меня дома... тоже... не лучше. Тиран-папаша и абсолютно подавленная им мать. Всю жизнь – ни слова против, ни одного возражения! Виталий сказал, Виталий потребовал, Виталий так любит. Все! Все, понимаешь? Он сделал из нее какую-то тряпичную куклу. Безмолвную марионетку. И смотреть на все это... почти невозможно. Человек с парализованной волей. Это вообще – человек? Вот я хочу любить ее. А не могу. Могу только жалеть. А его... его – ненавижу! А ведь самое страшное, что я на него похожа. Ты представляешь, похожа!

– Да чем ты похожа? – махнул рукой он. – Глазами и овалом лица?

– Многим, – отрезала она, – я-то знаю!

– Слушай, – примирительно сказал он, – а давай не будем про них? У них своя жизнь, а у нас своя. И мы будем счастливы, слышишь? Назло всем врагам!

– Да какие враги, – устало отмахнулась она, – просто несчастные люди.

Потом ей не раз приходилось слышать, что женщина, выросшая в несчастливой семье и воспитанная несчастной матерью, счастливой быть не может. По определению, как сейчас говорят.

Выяснилось, что да. Подтвердилось. Жизнью и жизненным опытом. И она все думала про свою дочь: ей что, тоже такая судьба? Дочь повторяет судьбу матери. Несчастливая мать – несчастливая дочь. Обязательно так? И этот порочный круг не разорвать никогда? Ах, она бы на все согласилась – на любую сделку с совестью или с дьяволом – только бы ее Наташка была счастливой. За всех – за нее, за ее мать, за ее бабушку Дашу.

А дочке было уже к тридцати. Ну нет, неправильно. Двадцать пять – это никак не к тридцати, что за глупость! Кавалеров у дочки было как-то не густо. Может, и хорошо? Только странно – дочка хорошенькая, длинноногая, остроумная и веселая. Почему же?

Лето закончилось, и они понимали, что встречаться так часто им уже не придется. Во-первых, учеба, во-вторых, мать возвращается с дачи, и все – свободной квартиры у них больше нет.

И все равно они встречались ежедневно. Пусть на полчаса, пусть в перерывах между лекциями, пусть коротенько у метро: «Я только поцелую тебя, и все! Чмокну в нос, и до завтра мне хватит!»

Иногда появлялась какая-нибудь случайная комната или квартира, они летели туда, забыв обо всем, – пусть пару часов! И наплевать, что на чужих простынях и подушках! На все наплевать. Потому... Потому что она будет чувствовать его запах, будет лежать у него на груди, будет целовать его смуглое и гладкое плечо и чуть покусывать его темный и твердый сосок.

А он – он будет говорить ей такие слова... Что всю следующую ночь она просто не сможет спать, вспоминая эти бесстыдные, «ужасные» слова, и ей будет так душно и так сладко... Ну, все понятно. Что тут объяснять?

К зиме они поняли, что даже на день расстаться нет сил.

– Надо жениться! – твердо сказал он. – Так больше продолжаться не может!

Это была фраза из какого-то фильма, и они дружно расхохотались.

Решили так – сказать обо всем родителям, перезнакомиться и выбрать день свадьбы. А еще лучше – без всяких свадеб, без всей этой суеты, колготни и маразма. Взять билет и уехать вдвоем. Куда? Да, например, в Питер. Или в Прибалтику, в Ригу. Или в Вильнюс – какая разница?

Вдвоем – на поезде, под запах угля, под дребезжащий звук чайных стаканов. Под мерный стук колес и сердец. Здорово, да? Да нет, не просто здорово – сказочно здорово и нечеловечески прекрасно. Вот так. Где там жить? Это, конечно, вопрос. Вопрос советских времен – неразрешимый почти, глобальной какой-то сложности.

Но она сказала, что наверняка поможет отец – у него везде связи. Ну, закажет какую-нибудь гостиничку для командированных, из дешевых.

Он сказал, что уже сообщил матери про их планы. Мать, конечно, разохалась – рано, господи, ты же совсем ребенок! Поплакала даже. Но потом успокоилась и даже обрадовалась – все лучше, чем ждать тебя по ночам!

Теперь пусть волнуется законная жена. Передаю из рук в руки. Надеюсь, в надежные, ох... Хотя какие там надежные. Девочке-то восемнадцать лет!

Он засмеялся:

– Ты не знаешь ее. Там серьезности – на троих. Маленькая такая старушечка с очень серьезным взглядом на жизнь!

Теперь засмеялась мать.

– Ой, ну ты скажешь! Серьезности много! А если это действительно так, – тут мать запнулась, – то я ее уже боюсь, Сашка!

Мать была человеком легким и даже беспечным. Легкомысленным. Например, с полочки могла «покупечествовать». Что это значило? Да закупить всяких дорогих вкусок в кулинарии – пирожных, салатов, запеченного мяса. Могла шикануть и по-другому – купить две пары дорожных гэдэровских колготок или французские духи – за немыслимые двадцать пять рублей. Или «урвать по случаю» – а тогда все было по случаю – в комиссионке шикарную итальянскую юбку из твида. Или пару импортных туфель – чуть сношенных, но все равно замечательных.

Он удивлялся:

– Мам! А как мы доживем до аванса?

– Как-нибудь, – отмахивалась мать, – и вообще, не порть мне радость. И счастья не отнимай!

Дожили, правда. Не было денег – пекли блины и жарили картошку. На это всегда хватало. Он думал – а мать-то права. Умеет человек устраивать себе праздник, и правильно! А лишняя колбаса – это мы точно переживем.

И уже в десятом классе не чурался работы – перебирал овощи на базе, разгружал вагоны на Курском, потом устроился туда же носильщиком – и это были очень приличные деньги.

Он очень любил мать и очень жалел. Ему казалось, что она так и осталась маленькой девочкой, не понимающей жизни. А это, наверное, ее и спасало. Про короткий роман с его отцом она особенно не распространялась. Он понял одно – ее, мать, отец очень любил. Но жениться не стал – предпочел девицу из номенклатурной семьи. И карьеру свою не провалил. А вот был ли он счастлив – да кто там знает. Да и какая им с матерью разница?

Владу он привел к матери в пятницу, а в субботу решили, что пойдут в дом ее родителей.

– У меня будет пострашнее, – честно сказала она.

С его матерью она тут же нашла общий язык – болтали весь вечер без остановки. Солировала, конечно, болтушка-мать, но и его сдержанная, казалось, любимая тоже не отставала.

На прощание они обнялись, и мать сказала, что она ей очень рада.

Он был совершенно счастлив, глядя на двух своих самых любимых женщин.

Он проводил Владу до дома, и было решено, что они созвонятся – насчет завтрашнего «приема». Было видно, что она здорово нервничает, он ее утешал и обещал, что все будет тип-топ. Ну а если ее родители будут против – это ведь ничего не меняет, правда? Они все равно будут вместе. И нет такой силы, которая сможет их разлучить. Просто нету, и все!

Наивный. Он не знал тогда, что есть эта страшная сила. Есть! И она уже совсем рядом. Близко. Почти за углом. Точит свой острый нож, чтобы вонзить его в сердце. Сначала – в его, а следом – в ее, Владино.

Чужие люди

В субботу утром, за завтраком, она торжественно объявила, что собирается замуж.

Мать притихла, окаменела и только смотрела на отца – сама новость не так взволновала ее, как волновала, впрочем, как всегда, реакция мужа.

Отец со стуком поставил чашку на стол и тяжелым взглядом уставился на дочь.

– Замуж, значит, собралась, – тихо сказал он, – выросла, значит. Созрела.

Влада кивнула.

– А что женишок? Тоже из сопливых?

Влада пожала плечом:

– А какая разница, сколько ему лет? Главное ведь не это.

– А что главное, дочка? – осторожно спросил отец. – Наверное, чувства? Любовь, так сказать?

Влада кивнула:

– Да. Чувства.

– Ага, – удовлетворенно проговорил он, – ну, а все остальное?

Она пожала плечами:

– А что ты имеешь в виду?

– Я? – грозно спросил отец. – Я, милая, имею в виду, собственно, все! Где вы будете жить, например. Что будете есть. Во что одеваться. На что, кстати, будете свадьбу гулять. Достаточно?

– Все решено, – отрезала она, – никакой свадьбы не будет. Лично нам эта гулянка совсем не нужна. Жить будем у Саши – мы так решили. И его мама не против. А насчет денег ты, папуля, и не волнуйся – Саша работает, да и я устроюсь куда-нибудь. Не пропадем.

– Ага, – опять удовлетворенно протянул отец, – значит, не пропадете? И свадьбы не надо, и курорта не надо? И вообще ничего не надо – у вас же все есть, я так понимаю?

Она подняла на него глаза.

– Возможно, у нас многого нет. Ты прав. Но у нас есть главное, понимаешь? А все остальное – приложится. Наживется. Да и не надо нам многого. Теперь все понятно?

– Понятно, – спокойно ответил отец. – Мне-то понятно. А вот тебе!

Она махнула рукой.

– Моя жизнь, и я сама буду ей распоряжаться!

Встала, чтоб выйти из кухни. У двери обернулась.

– Да, кстати, мам. Подумай про завтрашний ужин.

Мать посмотрела на отца. Тот усмехнулся.

– Ну, раз ты такая у нас... самостоятельная, тогда ты и думай. Правильно, мать?

И та покорно кивнула.

«Чужие люди», – подумала Влада.

Совсем чужие! Не беда, не горе – просто очередная порция боли. Переживем.

Перед самой смертью мать попросила у нее прощения.

– За что? – спросила дочь.

– А за все, – ответила мать, – за все, Владка, за все. И за тот ужин, в частности.

Впервые она задала матери вопрос, который мучил ее всю жизнь:

– Мам, а почему ты терпела?

Она ждала, что мать скажет: любила!

И это бы все оправдало. Ну, или хотя бы – частично. Но мать ответила по-другому: боялась, что он уйдет. Уйдет и оставит меня с детьми. И как я вас вытяну? Обоих? Без специальности? Чтоб вы голодали и нуждались – да никогда. Лучше уж я буду терпеть!

Она посмотрела на мать с такой жалостью, что та заплакала. Вернее, заплакали обе.

Потом, после ее смерти, она, конечно же, ее простила. Вспоминала ее жизнь и только жалела – злости совсем не осталось, ни капли. Голодное детство, война. Парусиновые туфли на бумажной подошве, подмалеванные зубным порошком. При дожде подошва размокала и отваливалась, а ноги окрашивались белым... Она боялась! Боялась всего – голода, одиночества, отца. А страх – это самая сильная мотивация. Вот и ответ.

А нам все равно!

Утром в субботу Влада торчала на кухне. Меню ее было простым – жареная курица с картошкой и свежий салат. Вряд ли вообще у кого-то из приглашенных прорежется аппетит при виде ее папашки с перекошенной физией и пришибленной мамы с головой, втянутой, как водится, в плечи.

Ровно в семь раздался звонок. На пороге стоял Саша и его слегка перепуганная и взволнованная матушка. У любимого в руках были торт и цветы.

Отец сидел в кресле и почитывал газету. К ужину он так и не переоделся – треники и старая байковая рубаша. Мать сидела на стуле и испуганно, исподтишка, поглядывала на «хозяина».

Хозяин не поднимал головы.

Гости вошли в гостиную и замерли на пороге.

– Мама, отец! – запинаясь, объявила непокорная дочь. – К нам гости! Вы не заметили?

Отец поднял голову, сдвинул брови и медленно, нехотя, стал выбираться из кресла. Мать тоже встала и ждала, что будет дальше.

Отец подошел к растерянным гостям и, внимательно их разглядывая, медленно проговорил:

– Ну что ж... коли так – проходите.

Сели за стол.

Молчание было ужасным, невыносимым.

Потом отец крикнул и достал из горки бутылку. Разлил по рюмкам коньяк, положил в тарелку салат и грозно сказал:

– Ну, деваться-то некуда. Что, мать, – он сдвинул брови, и мать вздрогнула, – дочь пропиваем?

Она видела, как застыла будущая свекровь, испуганно взглянула на сына и нерешительно опрокинула полрюмки, зацепив вилкой кусок огурца.

Саша улыбнулся и протянул рюмку будущему тестю:

– Чокнемся?

Отец прищурил рыжий рысий глаз.

– Думаешь? – спросил он.

Саша безмятежно кивнул.

– Ну, попробуем, – согласился отец.

Отец чокнулся зло, громко. Но Саша опять улыбнулся. Ей, Владе, – ничего, детка. Прорвемся. Их ведь в конце концов тоже можно понять!

А разговор не клеился. Хотя отец вдруг сказал матери:

– Оль! Ты чего зажала грибы и огурцы? Доставай!

Мать тут же вскочила, закивала и бросилась на кухню.

Молчание тяготило, а отец словно наслаждался этим. Потом и ему надоело, и он обратился к Сашиной матери:

– Ну что, сватьяшка? Берешь к себе на постой?

Сашина мать растерянно улыбнулась.

– Беру. Куда денешься!

– А зря! – вдруг крикнул отец, откидываясь на стуле. – Зря, матушка. Ошибаешься!

Все замерли, ожидая чего-то ужасного.

– Зря, – повторил он, – раз уж решили – пусть сами! Сами, как мы. По баракам, подвалам. Да где они, эти подвалы? – с сожалением, словно расстроившись, вздохнул он. – Ну, тогда – в коммуналку. Снимут пусть угол и там, – он осклабился, – пусть наслаждаются!

Сашина мать удивленно спросила:

– Зачем же? Зачем эти муки? А разве вам не будет приятно, если у наших детей будет легче, не так, как у нас?

Он усмехнулся.

– Приятно? – повторил он, качая головой. – Приятно? А почему должно быть приятно? А? Приятно, надо ж – приятно! Должно быть непросто. Вот так! Тогда, может быть, – он запнулся, вспомнив что-то свое, – тогда, может быть, и из них что-то получится.

– Пап, – не выдержала Влада, – ну, может быть, хватит? Хватит, а? Да и потом, – она усмехнулась, – ты, генеральский сынок, много ли жил в коммуналках? И вообще – ведь все равно ничего не изменится! Мы любим друг друга и все равно будем вместе. Давай как-то... по-человечески, что ли?

Отец, уже хорошо принявший, посмотрел на нее тяжелым, недобрым и осолопевшим взглядом.

– По-человечески? – повторил он. – А вы с нами? По-человечески? Решили втихушку. И свадьбы им не надо, и путешествия свадебного. Умные какие! Всем, значит, нужно, а им – нет! Им, гордецам, ни к чему! А знаешь, дочка, почему ты туда стремишься? Туда, в замуж? А?

– Почему? – одними губами спросила Влада, понимая, что скандала не избежать. Она слишком хорошо знала родителя. – Ну, и почему же?

– Да потому! – Отец встал со стула и хлопнул ладонью по столешнице так, что жалобно звякнули рюмки. – А потому, что спать тебе с ним очень нравится! Вот почему! Думаешь, так будет всегда? И ты тоже так думаешь? – повторил он, уставившись на будущего зятя.

Саша дрогнул и кашлянул.

– Вы, Виталий Васильевич, как-то все... не так понимаете. Я люблю вашу дочь. И помешать нам не сможет никто, – твердо добавил он.

– Ну и люби себе! – неожиданно миролюбиво ответил отец. – Лезь в ярмо, раз мозгов нет. В девятнадцать-то лет! – И рассмеялся. – А ты дурак, парень. Какой ты дурак! На что семью содержать будешь? Твоя-то не привыкла на пустой картошке сидеть. Сапожки любит, туфельки. Платица разные. А ну как заненавидит тебя через год, когда совсем скучно станет? Эх, сопliche вы зеленое. Совсем отбились от рук. Свободы у вас слишком много. Хочу – женюсь,

захочу – разведусь. Женилка выросла, да?

Саша покраснел, и Влада поняла, что он сейчас ответит. Ответит ее отцу, и все тут же рухнет, рассыплется, сломается мигом.

– Пап, – глупо хихикнула она, – ты ж не на партсобрании. И не в горячем цеху. Слезь с трибуны и давай просто поговорим. Как люди, слышишь! И хватит всех пугать, папа. Не страшно, честно!

Она выпалила все это одним духом и тут же испугалась – с папашей такие штучки не очень-то проходили. Услышала, как тихо охнула мать.

– И ты дура! – с удовольствием добавил отец. – Еще дурее его. Куда ты лезешь? К свекрови под бок?

Саша резко встал и коротко бросил:

– Хватит! Мам, и ты, Влада. Давай собирайся. Поедем домой. Достаточно унижений и хамства. Наелись, спасибо! А вы, не очень уважаемый будущий тесть, и отца народов, наверное, почитаете? Вот при нем был порядок, а?

Он пошел к двери, и его мать поспешила за ним. Влада стояла как вкопанная.

– Ну? – ухмыльнулся отец. – Что застыла? Беги, догоняй! Обживайся. Может, не выгонят. А Сталин, сопляк, лично мне ничего плохого не сделал. Усек? – выкрикнул он в коридор.

Она вздрогнула, словно очнулась, и бросилась в коридор.

Громко хлопнула входная дверь. Отец чертыхнулся, а мать громко охнула и села на стул.

Он посмотрел на жену и спросил:

– Что, недовольна?

Она не ответила и громко заплакала. Кого она жалела сильнее, ее слабая мать? Себя или свою непутевую дочь? А она и сама не понимала. Просто было очень горько и страшно. И все. Даже ей, такой привычной ко всем этим семейным кошмарам.

Домой они ехали молча. Только Татьяна Ивановна, Сашина мать, периодически гладила ее по руке.

– Устаканится все, детка! И не такое в жизни бывает. Ты мне поверь, я через такое прошла...

Влада молчала. Молчал и ее нареченный. Молчал и не смотрел на нее.

В эту ночь они даже не обнимались – Саша отвернулся к стене, вежливо пожелав ей спокойного сна.

Какой там сон, господи! Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о своей нелепой семье, ненавидя отца и трусиху мать и стыдясь перед женихом и свекровью.

Она знала, что отец Татьяны Ивановны и его родной брат прошли через сталинскую мясорубку. Один в лагерях и остался. А второй в пятьдесят пятом вернулся – сломленным инвалидом. И прожил совсем недолго, года два или три.

И бабушка Сашина в ожидании мужа перенесла два инфаркта и скончалась до его возвращения.

Наутро всем было неловко смотреть друг на друга. Но она нашла в себе силы и после завтрака тихо, но твердо сказала:

– Вы их... простите, пожалуйста! А я тут совсем ни при чем. Дети за отца, как известно... Что я могла поделать, слыша все это? Только страдать и краснеть.

Саша посмотрел на Владу, потом подошел к ней и обнял. Она выдохнула, поняв, что все образуется.

Вечером он принес два букета огромных садовых ромашек – ей и маме, – сказал, что купил у метро, у бабули. Потом сели ужинать, и неловкость постепенно исчезала, словно ее и не было.

А дня через три, выйдя из дверей института, она увидела мать. Та стояла, как всегда, в стороне и вглядывалась в толпу выходящих студентов.

– Владлена! – крикнула мать и быстро пошла ей навстречу.

– Зачем ты пришла? – сухо спросила Влада. – Я, знаешь ли, не соскучилась. Ты уж прости.

Мать разрыдалась.

– Отец в больнице! Ему совсем плохо, тяжелый инфаркт.

Влада молчала, опустив глаза. На мать ей смотреть не хотелось.

– И что вам от меня надо? – спросила она, подняв глаза.

– Доченька! – взмолилась мать. – Он... очень просит тебя приехать. Очень, слышишь? Может быть, он, – она помолчала, – попросит прощения?

– Ладно, подумаю, – ответила Влада, – до завтра подумаю!

Она развернулась и пошла догонять одноклассников.

Вечером она сказала любимому, что приходила мать. Тот молча выслушал и спросил:

– И что ты решила? Поедешь?

– А что бы сделал ты? На моем несчастном месте? Ты б не поехал?

– Я – нет! – резко отрезал он. – Никогда!

– А я – да! – так же резко ответила она. – А ты не подумал, если... ну, он умрет. Как мне потом с этим жить?

– Об этом и речь! – воскликнул он. – Ты ведь в нем совсем не нуждаешься. И в извинениях его тоже. Ты... хочешь облегчить свою участь. Совесть свою! Ну, чтобы потом без раскаяния и чувства вины. А это знаешь, как называется? Может, поспоришь со мной? Я не прав?

– Мне наплевать, что ты думаешь по этому поводу. И наплевать, как это все называется. Это мой отец, и он умирает! А тебе... Тебе, прости, незнакомо это чувство, и все. Вот поэтому ты меня осуждаешь и выговариваешь! Или я не права?

Он не ответил. Просто встал и вышел из комнаты. А она осталась. Сидела на чужой кушетке, в чужой квартире, понимая, что из комнаты сегодня не выйдет. И больше всего на свете ей захотелось домой.

Вот чудеса... Дура какая, господи!

Она вышла из комнаты, тихо прошла мимо кухни, где работал телевизор и была, слава богу, прикрыта дверь, и открыла входную дверь. На секунду задумалась, застряла, но, вздохнув, все-таки вышла на лестничную клетку.

В конце концов, она, и только она, здесь принимает решение. Это ее семья! Какая бы она ни была. Ее отец и ее мать. И никто – никто, кроме нее самой, просто не имеет права решать, как ей быть. И еще – осуждать. Ее семью. И даже не самых лучших родителей.

Семья... какая ни есть

Мать, увидев ее, закудаhtала, захлопала крыльями и начала подробно рассказывать про отца. Дочь ее перебила:

– Мне это, прости, не так интересно. А завтра – завтра я поеду к нему. Все. Я ушла. Спокойной тебе, мама, ночи.

Мать ойкнула и мелко закивала головой, бормоча что-то, но Влада уже не слышала.

Утром она взяла с собой банки и термос, собранные матерью, и поехала в больницу.

Отец лежал в отдельной палате – большой, светлой, «царской». На тумбочке лежала прозрачная желтая кисть винограда и стояла бутылка боржоми. Отец дремал. В комнату било солнце, в открытую форточку дул свежий ветерок, колыша белую накрахмаленную занавеску.

Она смотрела на бледное, словно подсохшее, лицо отца и думала: «Почему ты такой, отец? Зачем? Я бы так хотела любить тебя. Любить и гордиться».

Он вздрогнул и открыл глаза. Посмотрел на нее внимательно и усмехнулся:

– Пришла?

Она не ответила – только кивнула.

– Правильно, – сказал он, продолжая усмехаться, – женихов-то еще куча будет, а батька один!

– Я думала, – тихо сказала она, – что ты... извинишься.

– Зря, – крикнул он и привстал с подушки, – не за что мне извиняться. А твой соплежуй – дурак! Мог бы... ради тебя... не ответить. Я его, дурака, проверял!

– Зачем ты так? – с мукой в голосе спросила Влада. – Тебе что, нравится меня унижать?

– Если для дела – конечно! Чтобы ты поняла. Ненадежный он, хилый. Не мужик еще, так, суета. Может, вырастет еще, а может, и нет. А пока – пусть сопли утрет, женишок! Не такой тебе нужен. Силы в нем нет, одна прыть. А на ней

далеко не уедешь.

– Не тебе судить, – отрезала она, – и решать не тебе!

Она подошла к окну и встала к отцу спиной. Видеть его было мучительно.

В этот момент дверь в палату раскрылась, и она услышала женский голос:

– Виталечка! Как ты? Сейчас повторим кардиограммку, родной!

Она обернулась и столкнулась взглядом с женщиной в белом халате, с высоко закрученной «халой» на красивой, породистой голове.

Та, увидев Владу, тут же запнулась и покраснела.

Влада сразу все поняла – эта баба и есть та самая главврачиха, любовница папаши и его боевая подруга.

Влада взяла со стула сумочку и вышла прочь. У двери она обернулась:

– Ну, при таком-то уходе, я думаю, вы, Виталий Васильевич, скоро поправитесь!

Ей не ответили. Да и что тут ответишь!

На улице она села на лавочку и разревелась. Мимо медленно проходили больные в халатах и пижамах, пробегали резвые медсестрички, мазнув ее равнодушным и быстрым взглядом – что сделать, больница! Горя тут много и много печали. То, что кто-то рыдает, – нормально, не новость, а жизнь.

А он не звонил. Целую неделю – и ни одного звонка. На что обижаться? На то, что она защитила больного отца? За то, что не послушалась его и поехала в больницу? Ну, если все это – повод для смертельной обиды, тогда...

Тут она вспомнила слова отца, и ей сразу стало нехорошо, душно, дыхание перехватило – хилый, сопляк, не мужик.

Разве он не понимает, как ей сейчас тяжело? И где он? Где поддержка? Где – в горе и в радости? Так, как они говорили? Как мечтали, что будет именно так и никак по-другому? А она-то одна. В своей беде, в своей тоске. В своих проблемах.

И она позвонила сама. Наплевав на все: гордость, обида – какая разница? Ей было так плохо, плохо вообще и плохо без него. Да что говорить!

Так не бывает! Ты меня... предал?

Трубку взяла Татьяна Ивановна и веселым голосом сообщила, что он на сборах, в военном лагере. Почему не позвонил? Ну, тоже обиделся. Оба вы хороши – по больному друг друга. Он про твоего отца, ты про его. Молодость – а в ней обижаются насмерть, надолго. Но все, разумеется, перемелется, и будет мука, – пошутила она, – только в дальнейшем... Ты мне поверь – женщина глубже, умнее. И женщина должна уступать. Как-то смягчать обиду. Ну, жизнь тебя, конечно, научит, – беззлобно заключила она.

У Влады чуть не вырвалось: а вас? Научила? И если вы такая умная, то почему вы одна?

Слава богу, сдержалась. А осадочек-то остался! Спросила, где находится лагерь, но та сказала, что, во-первых, адреса точного нет – да, конечно, можно узнать на кафедре, но бесполезно – туда, в лагерь, все равно не пропускают. Такие порядки. А приедет он через два месяца. Ерунда! Вот тогда все успокоится и все забудется. «А пока – жди письма. Напишет, наверное», – не очень уверенно закончила она.

Ни про отца, ни про мать она не спросила – Влада поняла: враги на всю жизнь. Презируют ее родителей и ненавидят. И даже не стараются этого скрыть.

Письма все не было. Она снова звонила Татьяне Ивановне, та отвечала, что у него все нормально. Почему не пишет? Да бог его знает. Мне пару раз звонил – коротко, правда. Связь там ужасная.

– А мне – нет, – грустно сказала она.

Та утешила:

– Ну почему ты знаешь? Может быть, тебя не было дома?

В гости не приглашала, кстати. Ну да ладно. Два месяца – это и вправду не срок. Надо жить дальше и думать о том, что дальше все сложится. Дальше все будет хорошо. А как по-другому?

Отца уже выписали, и мать снова хлопотала возле него. По-дурацки, суетливо и бестолково. Он орал на нее, она убегала плакать, а Влада снова думала, как поскорее уйти отсюда, из постылого отчего дома.

С отцом она почти не разговаривала, – да и он не стремился. Слышала только, как он громко, не опасаясь, что будет услышан, ежедневно и по нескольку раз беседовал со своей докторшей – докладывал подробно и обстоятельно, как поел и что, какое давление, пульс и, простите, желудок. Ей стало смешно, и она подумала: а зря он не уходит. Зря не уходит к этой тетке. Наверняка – и это понятно – у них доверительные и близкие отношения. Жили бы себе и радовались. А мать – мать бы пришла в себя, пережила – куда денешься – и тоже зажила бы спокойно.

Два месяца истекали. Теперь она сразу после учебы бежала домой, чтобы не пропустить телефонный звонок. Мать вопросов не задавала, а вот отец однажды спросил:

– Ну что? Одумалась? Раздумала замуж? Значит, зря на папашу обиделась. Умница, дочка. Моя кровь!

– Не зря, – отрезала она, – и обиделась вовсе не зря, и зря ты думаешь, что одумалась. Он просто в отъезде, но как только приедет, твоя умница дочка отправится в загс. И не надейся, что так велика сила твоего воздействия и я так послушна!

Отец равнодушно пожал плечами:

– Хозяин – барин! Будет по-твоему. А уж как оно будет... посмотрим.

И снова она позвонила. И снова трубку взяла его мать.

Она была как-то растеряна и смущена – Влада почувствовала это сразу.

Да, приехал. Нет, дома нет. Почему не звонил? Ой, Владочка, я и не знаю. Занят, наверное. Хотя... ты знаешь, девочка... ты... не звони. У него что-то... переменялось. Передумал, наверное. Сказал, что подумал и – прав твой отец. Рано жениться. Ни жилья своего, ни денег. Запал, наверное, прошел.

– Пе-ре-думал? – медленно повторила Влада. – Запал, говорите, прошел? А что такое – запал? Я думала, что у нас с ним – любовь. А у нас был запал. Я и не ожидала... И папаша мой прав. Ну, просто святой человек мой папаша – провидец! Жизни научил вашего мальчика. Образумил просто, глаза открыл! А мальчик ваш, – она помолчала, – мальчик ваш чудный. Ответственный такой мальчик. И честный! Прошел запал – ну, да бог с ним. Мы – по-честному, прошел, и все. Жениться не будем. И звонить даже не будем – зачем? Зачем травмировать себя, правда? Разговоры вести неприятные? Выяснять что-то, оправдываться? Объяснять про запал? Про жилье и про деньги – а я-то не знала! Ни про то, ни про другое не знала! Думала, что богатый ваш мальчик. Сын подпольного миллионера, ну, или генерала какого-то. Или – директора Елисеевского магазина. А у него – ни квартиры, ни денег. Вот незадача! Переменялось у него, видите ли! Планы поменялись, да? Подумаешь, дело какое! Ну и бог с вами. Живите счастливо. А мой дурацкий и хамский папаша оказался неожиданно прав. Еще одна неприятность, правда? Идеологический противник, дурак и скотина – а прав ведь! Что вы молчите? Может быть, я чего-то не знаю? А?

– Может быть, – тихо ответила та.

– А! Не догадалась, дурочка! У него что, новый запал?

– Будь счастлива, – еще тише ответила собеседница, – и... не держи на него зла.

Гудки. Раздались короткие и беспощадные гудки. Извещающие о том, что все закончилось. Все на свете – не только этот тяжелый, невозможный и дурацкий разговор. Жизнь закончилась, вот что.

Наложить на себя руки? Как просто! Ну нет. Из-за этого мозгляка? Ничтожества? Оборвать свою совсем юную, драгоценную жизнь? Даже если она в тягость? Да глупости. Не стоит он того. Она все-таки дочь своего отца. А он не из мозгляков, ее папочка. При всех своих мерзостях – нет!

Он, кстати, спросил ее снова:

– Ну? Что? Смылся Ромео твойдохлый?

Она не ответила. Ну, а больше он и не спрашивал. Слава богу.

Я буду жить, слышите? Буду! Всем назло!

Замуж она выскочила скоро, месяцев через семь. Влюблена не была ни минуты. А что будущий муж не из мозгляков, поняла сразу. Папина школа.

Павел Девятков был хорош собой, щедр и внимателен. Из достойной семьи – и мама, и папа большие начальники. Папа – по космосу, мама – историк. Жених окончил МГИМО и собирался в командировку. Естественно, за границу. Естественно, в Европу. Без папы-космодела здесь, разумеется, не обошлось.

Повстречались три месяца, и она приняла его предложение. Свадьба была небольшой, но достойной, как выразилась ее свекровь. В ресторане «Космос» – простым смертным путь туда был заказан. Народу было немного – соратники свекра, пара подружек свекрови, очень похожие на саму свекровь: скромно, но дорого одетые дамы в серьезных украшениях и с серьезными мужьями.

Ее родители смотрелись на их фоне, прямо сказать, не слишком достойно. Особенно мать – папаша еще хорохорился. Но – пережили и свадьбу. Через два месяца, глядя в окно самолета, несущего их с мужем в славный город Кельн, она вдруг подумала: «А что я тут делаю? В этом самолете, в этом удобном кресле, рядом с этим достойным человеком? Что ты тут делаешь, Влада?»

И тут же ответила себе: «Я выживаю. Просто нашла себе способ, чтобы не сдохнуть. И осуждать, и жалеть меня – вот точно! – не надо. Каждый кузнец своего счастья, как говорил мой провидец папаша. Мудрец – что говорить. И дочь не отстала – туда же! В кузницу, где куют это самое счастье. Только вот интересно – выкуют ли? И что выкуют, Влада? Посмотрим».

А потом принесли обед, который она с удовольствием съела. Выпила кофе, закрыла глаза, и муж нежно погладил ее по руке.

Внимательный и тонко чувствующий супруг – что называется, уловил настроение.

И это, кстати, он умел делать всегда. В этом ему не откажешь.

Как и во многом, впрочем, другом. Ничего плохого – замечательный человек. А если не складывается, ну, не сложилось, – виновата она. Кузнец своего счастья – как было замечено выше. И больше никто и ни разу. Поверьте!

В Кельне было неплохо. То есть очень даже хорошо, если бы... Это «если бы» включало не так много, но «не так» вполне хватало, чтобы чувствовать себя несчастной.

Она не корила себя за то, что столь поспешно выскочила замуж – без всякой любви и даже влюбленности. Потому что понимала: не сделала бы этого, не уехала бы из Москвы – было бы в сто раз хуже. Потому что жить с ним в одном городе и дышать одним воздухом было совсем невозможно. А здесь, вдали от дома, да еще и в другой стране – так все поменялось, вся ее жизнь, – все равно было немного легче.

Днем она бродила по городу, заходила в костелы, в магазины, сидела в уютных кафешках с чашечкой кофе, глазела по сторонам, разглядывала прохожих, и боль чуть-чуть отпускала.

Муж по-прежнему был предупредителен и нежен с ней – упрекнуть его было не в чем.

Но разве любишь того, кого не в чем упрекнуть?

Он как будто ничего и не замечал – наверное, думал, что она просто крайне сдержанный человек, замкнутый и холодный. Что ж, наверное, это и неплохо – его раздражали торгпредские сплетницы и балаболки. Такую женщину он бы не выдержал точно.

А его жена была немногословна, обязанности по дому выполняла с достоинством, а что касается интимной, супружеской жизни – так эта сторона его заботила не слишком. Не все, далеко не все люди на свете стремятся гореть в страстях, пылая на ночных простынях. Все люди разные.

И все же они жили неплохо. Не ругались, не цеплялись друг к другу по пустякам, не раздражались на бытовые мелочи – ей это все было до фонаря, а он – он просто был не брюзга, не зануда.

Через два года она забеременела и родила девочку, дочку. Назвали Наташей. Без выкрутасов. Влада отлично помнила, сколько неприятностей принесло ей собственное имя.

Его она почти не вспоминала – потому что просто запретила себе думать об этом. Не ругала его, не обзывала бранными словами и не желала ему пережить то, что пережила она – предательство, худший из грехов. В этом она была абсолютно уверена.

Ничего страшнее предательства не бывает. Когда предает любимый, притом что и тени мысли не возникало, что он на это способен, внезапно, резко, как выскакивает из-за угла коварный убийца, маньяк с толстой веревкой, которую он готовится набросить на свою невинную жертву.

Она не желала ему зла – совершенно! Убивала только одна мысль – все эти годы она точила Владу, терзала и мучила: почему? Почему он сделал это именно так? Как это случилось? Из-за чего? Что такого произошло, что он разлюбил ее и не нашел мужества даже объяснить ей причину?

Она что, не заслужила? Не заслужила простого человеческого разговора и объяснения?

Она старалась его не вспоминать. Но всегда знала одно – точнее, не знала, а чувствовала, – она его никогда не забудет. Он всегда будет с ней. Всегда.

И это ужасно.

Спустя четыре года они вернулись в Москву – деньги на кооператив были собраны, машина куплена, обстановку они привезли из Германии. Дочка росла здоровой и сообразительной. Все было отлично. Достаток, покой, комфорт, стабильность – что человеку надо?

Что человеку надо, чтобы быть счастливым?

А надо совсем другое, оказывается. И она про это знала – гораздо лучше других.

Только... только в одном она заблуждалась – в том, что ничего нет на свете страшнее предательства.

Вот это было не так. Бывают на свете вещи и пострашнее. Болезнь, например.

Болезнь как приговор – страшная и смертельная.

Так бывает, любимая, но ты – не узнаешь

Тогда, в том далеком, приснопамятном году, когда перевернулась вся его жизнь, в военном летнем лагере, узнав страшную правду, несколько дней он пролежал на кушетке в лазарете, глядя в низкий и грязноватый, сто лет назад побеленный потолок.

Никто его не трогал – лежи сколько влезет. А встанешь – все решено. Поедешь в столицу. Для тебя, парень, построения и пробежки закончились – и, судя по всему, навсегда.

И ведь ничто не предвещало – совсем ничего! Свалился с банальной, как думали все, простудой – после очередного забега по болотам. Промочил ноги – и

пожалуйста, температура. Высокая, правда, – сорок и один. Пошел в лазарет, а там, на его счастье (или несчастье), попалась опытная пожилая врачиха. Что-то заставило ее засомневаться, и она настояла, чтобы из ближайшего поселка прислали лаборанта – взять кровь. Через пару дней с огромным трудом, скандалом и боем лаборант из сельской больницы приехал. А через несколько дней был готов результат.

Предчувствие ее, увы, оправдалось – кровь была кошмарная, и она вопила, кричала о том, что...

В общем, это было заболевание крови. Злокачественное. Проще говоря – рак.

Она вошла к нему в палату, села на стул и стала гладить его по голове. У нее тоже был сын – примерно его возраста, – и она все понимала.

Он открыл глаза и внимательно посмотрел на нее. Понял все моментально.

– Что, Анна Петровна? Плохи наши дела?

Она всхлипнула и кивнула:

– Плохи, Сашуля. Прости, очень плохи.

Пощупала лимфоузлы и покачала головой.

Он выслушал все довольно спокойно и, когда докторица закончила свой печальный рассказ, сказал:

– У меня два вопроса. Точнее, вопрос-то один, и еще одна просьба. Первое – мать не должна ничего об этом знать. Вы понимаете? Зачем ей страдать? И второе – только чистую правду, без экивоков и обиняков, потому что так мне будет проще и легче, вы понимаете?

Анна Петровна вытерла ладонью глаза и кивнула:

– Спрашивай, Саша.

Он громко сглотнул тугой комок, стоящий в горле и мешающий говорить и даже дышать.

– Сколько? – только и спросил он.

Она кивнула:

– Да, я поняла. Коротко и однозначно ответить тебе не могу – бывает по-всякому. Я много видела таких больных, работала когда-то в Омске, в гематологии. Повторю – бывает по-всякому – кому сколько отпущено. Год, пять, десять. Это сейчас, в общем, лечат. В Москве – на Каширке, там целое отделение. Жизнь продлевают, что говорить! Но, Саша, ты должен понять, что это будет за жизнь. Температура, слабость, потеря иммунитета. Кашель, зуд, слабость. Постоянные госпитализации – без этого жить ты не сможешь. Твоя жизнь будет подчинена этой... заразе. Она будет распоряжаться тобой, понимаешь?

– А если, – он снова сглотнул, – а если, ну... наплевать? Делать вид, что не знаешь? Что отпущено, то и отпущено, так? Год, два, три – ну, как придется, как сложится, в общем?

– Не хочешь бороться? – удивилась она. – Ну, здесь ты не прав. А если тебе продлят жизнь на год, на полгода? На три года, ну, или пять? Разве это не стоит того? Каждый день, каждый час?

Он помотал головой.

– День, час, – усмехнулся, – полгода... Не стоит! Валяться по клиникам, жрать таблетки, мучить врачей и мать? Нет, к чертовой матери! Этого мне точно не надо.

– Мать, – повторила врачиха. – А ей будет легче, если ты сложишь лапки? Легче, если ты откажешься от борьбы?

– Легче, – уверенно сказал он, – потому что она ничего не узнает. Я... умру внезапно. Для нее неожиданно. Страшно, конечно, но... Она не будет страдать предварительно и ожидать моей смерти. Я не прав, Анна Петровна? Ну, когда итог в принципе известен?

– Ты, Саша, не прав. Разумеется, очень не прав. Ты так молод, что жизнь для тебя – всего лишь копейка. Разве ты, Саша, слабак? Просто смирился, и все? Нет, миленький мой! Надо бороться. За год, за минуту! Потому что жизнь... главная ценность, поверь старой женщине, Саша!

– Жизнь! – повторил он. – Правильно – жизнь! А не жалкое и убогое существование. В ожидании, простите уж, смерти.

– И это тоже... прости меня, жизнь, – вздохнула она и снова заплакала.

– По мне – нет! – жестко отрезал он. – Я не люблю, когда кто-то меняет мои решения и планы.

– Жизнь твоя, и тебе ей распоряжаться, – вздохнула она. – Надеюсь, ты передумаешь.

Он резко мотнул головой и отвернулся к стене.

Было стыдно – от того, что все эти бессонные ночи и дни он думал о Владе. Больше о Владе, чем о матери. Думал долго, продумывая все тщательно, до мелочей и подробностей, и вот надумал – лечиться он не пойдет, потому... Ну, не пойдет, и все! Не для него эти бесконечные больницы, капельницы, уколы и прочие медицинские муки.

Матери пока говорить тоже ничего не будет. А там – посмотрим. А Влада... Ну, здесь все предельно ясно – от нее он все это, безусловно, скроет и утаит, иначе она – кто б сомневался! – бросится его лечить и спасать. Она не откажется от него, это понятно. Просто бросит свою молодую прекрасную жизнь на алтарь его спасения!

Загубит себя, превратившись в сиделку и няньку, бросит институт и усядется у постели смертельно больного. Ни покоя, ни нормальной семейной жизни, ни детей, разумеется, – ничего! Ничего у нее не будет, кроме тоскливого запаха болезней и страданий. Кроме бесконечной боли за него. Ну а когда его не станет – никто не знает когда, – она уже превратится в немолодую, бездетную, больную, замученную проблемами женщину. Сломленную и раздавленную. Все.

Он так четко это представил и так четко это увидел, что сразу решил, что ему делать.

Уехать! Уехать подальше – от нее и от матери тоже. И никто не увидит его больным и медленно (или быстро) уходящим из этой жизни и с этой земли.

Решение показалось ему гениальным, и он даже повеселел. Только понял, что видеть ее, говорить с ней, объясняться, придумывать версии, врать ему не под силу.

И наплевать, в конце концов, что она будет думать про него и какими словами поносить, – здесь важно другое: он не испортит ей жизнь!

Она переживет его измену – а куда денется, переживет! Обида и боль канут в Лету, и она разлюбит его, полюбит другого, выйдет замуж, родит ребенка и будет счастлива.

Проживет долгую, счастливую и красивую жизнь – кто, как не она, этого заслуживает!

А он... Он проживет свою – пусть не такую долгую, но все же, надеется, не самую подлую.

Он провалялся еще несколько дней, пока не спала температура, потом пошел к военному, все ему объяснил. Тот оказался мужиком вменяемым, и хоть решения его не одобрил, но все же помог – с тяжелым, конечно, сердцем. Дал ему адрес своего друга, живущего на Байкале. Тот служил там давно – лесником. Был холост, бездетен, суров, но справедлив. В городе, с людьми, так и не ужился – слишком тяжелый характер.

Военком написал другу письмо. Через пару дней, не заезжая домой – видеть мать тоже было еще каким испытанием, – он уехал туда. На Байкал.

Матери позвонил и наврал с три короба – мол, случилась такая история, влюбился по горло в хорошую девочку. Она тут гостила у бабки – сама не местная, с Байкала. Ну, в общем, он уезжает с ней. Надеюсь, мам, ты поймешь и не осудишь – такая любовь! Фотографии с места обязательно вышлю, ну, а

попозже – приедешь сама. Нянчиться с внуками. Почему не заехал – так у нее, у невесты, отпуск закончился. Не очень, конечно, красиво, но... Обстоятельства, мам! Да. Переведусь на заочный, уже узнавал, это можно. И еще – так, мелочовка, – Владе ты, ну... объясни. Можешь наврать – как тебе легче. Да, я сволочь, все понимаю. Но – жизнь, мам, так повернула. Я и сам обалдел. Не верил, что такое бывает. Владу любил? А я и не спорю. Но что поделаешь, мам! Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. Не узнаешь собственного сына? Да я и сам не узнаю себя, мам! Ха-ха! Вот ведь бывает как, а, мамуль? Сам офигел! Ну да, сволочь, конечно! И снова не спорю.

И снова – ха-ха.

Мать, как ни странно, поверила. Вот чудеса! И ничего – как ему казалось – не заподозрила. Да, подтвердила, что он гад и свинья, тут же вспомнила папашу, сказав, что кровь не водица и яблоко от яблони, все понятно. Охала про Владу – разве так можно? Сын, что ты творишь! Про выдуманную невесту сказала коротко – знать ее не хочу!

Он опять хохотнул:

– Да при чем тут она-то? Она совсем с краю.

– Хорошенький край, – горько ответила мать. – Ладно, черт с тобой. Делай как знаешь. Все равно ведь слушать не будешь.

– Не буду, – словно идиот, весело повторил он, – точно – не буду!

– Хотя бы пиши! – грустно и безнадежно вздохнула мать. – Что еще ждать от тебя? В смысле – хорошего?

Он положил трубку в дежурке и выдохнул – ну, самое главное. Самое главное сделано. И еще – еще он надеется, очень надеется, что эта его подлость... Ну, Бог не накажет, простит.

А то, что не простит она, Влада, – так даже лучше. Ей будет легче.

Хотя чем еще этот самый Бог может его наказать? После того, что уже случилось? С ним, с его жизнью? С матерью, с Владой?

Вот только остается вопрос – а за что? Ведь он даже и напортачить еще ничего не успел! По молодости не успел – почему же все так?

Другая жизнь

Спустя неделю он уже вовсю колол дрова, учился топить огромную закопченную печь, кормить кур и кролей, чистить хлев за коровой Дуськой, ворошить вилами сено и снимать колорадских жуков с картофельных кустов. И делать множество других, совсем незнакомых и странных вещей, с которыми он и не думал столкнуться в жизни.

Правда, болезнь иногда давала о себе знать – хотя думать о ней он себе запретил. Только когда накатывала непомерная слабость... он уходил на задний двор и ложился на землю за сараем.

Хозяин, лесник Прокофьич, оказался мужиком суровым и молчаливым – прочел письмо военкома, нахмурил брови и кивнул:

– Живи, коли хочешь. Захочешь уйти – не держу. А то, что больной, – твое дело. Здесь надо работать – просто чтоб выжить. Сдюжишь – живи. Не сдюжишь – пойму. Пойдешь в город и там полегче устроишься. Смогу – помогу, но рассчитывай, паря, на себя. – И буркнул под нос: – Всем надо рассчитывать на себя. На других нет надеги.

Целый день Прокофьич проводил в лесу – уходил рано утром, подоив Дуську и взяв с собой котомку с картошкой, луком, салом и бутыл с молоком. Приходил, когда уже темнело, долго пил чай и ложился спать. Иногда слушал радио – телевизора в избе, понятное дело, не было.

В субботу ходил на рыбалку – привозил омуля, тайменя и хариуса. А однажды приволок усатого гиганта: «Смотри, парень, байкальский осетр! Редкая птица ныне!»

Вечером жарили или коптили рыбу. Из леса Прокофьич приносил корзины грибов – сушил и солил сам, не доверял никому. За ягодами не ходил – говорил, мол, бабье это занятие. Еще приносил много трав и сушил их в сенях – от сердца, от почек, от соплей и от перебива – так называл радикулит.

Ночью страшно храпел, и Саша затыкал уши комками ваты.

Они почти ни о чем не разговаривали – только по домашним делам.

Никто ничего друг у друга не спрашивал. Только однажды Прокофьич обмолвился, что жил в столице, в Москве.

– Вы москвич? – обалдел жилец.

Тот досадливо отмахнулся;

– Москвич, не москвич, какая разница? Везде говна хватает, а уж в столице – тем более.

Саша понял – в жизни Прокофьича было что-то серьезное, вполне возможно ужасное, ну, или драма тяжелая, или, возможно, тюрьма. На столичного жителя он не похож ни минуты – совершенно сельский мужик, отшельник. Сколько живет он здесь, на этой заимке? Сколько холостует? Сколько ему лет? Совершенно непонятно. Иногда кажется, что он древний старик. А так – побрей, постриги – еще не старый мужик, под полтинник, не больше.

Впрочем, у всех свои тайны. Молчит человек, ну и бог с ним. В душу к нему он лезть не собирается – приютил его, уживаются, да и ладно. Спасибо на этом!

Они для того и ховаются здесь, чтоб никто их не трогал.

Периодически он чувствовал себя вообще хорошо – уставал, конечно, от физической работы, но убеждал себя, что это все с непривычки. Тогда думал – а если? Если ошибка, ну, или прошло? Такое бывает?

Иногда, правда, ему казалось, что его лихорадит, – тогда Прокофьич заваривал свои «от соплей и жара», и все вроде бы проходило. Аппетит, надо сказать, у него был совершенно зверский – он убеждал себя, что умирающие так жрать не хотят!

Ночью спал теперь как убитый – после целого дня трудов да на воздухе. Ему даже стало нравиться сельское житье – старик научил его доить корову и заставлял пить еще теплое, пахшее луговой травой парное, с пенкой, молоко. Летом он долго плавал в холодной байкальской воде. Однажды старик взял его на охоту, но выстрелить он так и не смог – ни в зайца, ни в утку. Смутился и объяснил, что эта забава не для него. Старик усмехнулся: «Жрать захочешь – стреляешь!»

А года через полтора он уже мог зарубить курицу, ощипать ее и порубить на куски.

Матери он писал короткие, но емкие письма – все хорошо, живем с женкой в ладу. Только в гости не звал и про Владу не спрашивал. Никогда не спросил и ни единого слова.

Ну и умница мать помалкивала – своему дитенышу простишь и не такое! Спрашивала только, не хочет ли он вернуться в Москву.

А он бодренько отвечал, что нет, ни минуты! Жизнь здесь прекрасна, свободна и чиста.

Что, впрочем, и не было ложью – совсем. Совсем!

Чужой город

В Москву он приехал через два с половиной года – совесть заела, да и тоска по матери тоже.

В родном и, казалось бы, знакомом городе он шарахался, точно деревенский мужик из дальней глубинки, впервые попавший в столицу. Город сразу,

моментально оглушил его, ошарашил, испугал и накрыл такой безысходной и тревожной тоской, что, если бы не мать, он тут же бы уехал обратно, в первый же день.

Мать открыла дверь и несколько минут смотрела на него, не веря своим глазам. Потом они обнялись, и мать разрыдалась. Они пошли в комнату, сели на диван и долго, очень долго, сидели, обнявшись и замерев. Потом мать бросилась его кормить, и он, отвыкший от салатов и пирожных, мычал от удовольствия, зажмурился глазами.

Мать сидела напротив, подперев голову руками, и с удивлением, нежностью и болью смотрела на него, не отрывая глаз.

– Не кормит жена? – вдруг спросила она.

Он вздрогнул и растерянно посмотрел на нее:

– Ну... почему сразу – не кормит! Кормит, конечно. Только без этих всех изысков, – и он кивнул на стол. – Там, у нас... просто все, понимаешь? Что поймает, ну, или в лесу соберешь, как в поговорке – как потопаешь, так и полопаешь.

– Да-а? – удивленно протянула мать. – Вы там совсем дикие, что ли? А разве в деревне не держат скотину? Коров, поросят? Птицу разную?

– Да держат, конечно, – оживился он, – корова у нас, Дуська. Куры... разные. Кролики.

– А фотографии ты привез? Ну, жены своей? Новой родни? Как обещал, Сашка?

– Мам, – он опустил глаза, – не любят они фотографироваться! Понимаешь? Совсем не любят!

Мать усмехнулась.

– Сектанты, что ли? Или староверы какие?

– Почему сразу сектанты? – делано возмутился он. – Скажешь тоже! Глупость какая-то, – продолжал он бурчать от смущения. – Просто... не любят. Там совсем другие люди, мам. Абсолютно другие. А если сравнивать с нами – то это вообще, смех и грех.

Мать остановила его.

– Люди везде одинаковы, Саша. Ты мне поверь! И хотят все ну примерно одного и того же. Перечислять или не надо? Сам знаешь? Просто ты мне врешь, Саша! Врешь давно, уже три года. И тебя не волнует, как я живу с этой ложью. И не могу задать тебе вопрос – почему? Почему, сыночек? Почему ты бросил институт, почему бросил Владу, почему бросил меня и Москву? Ведь должна быть причина, Саша? Серьезная причина, сынок!

Он молчал, опустив голову. Долго молчал. Молчала и мать. Потом она встала, подошла к нему, провела рукой по его голове – против роста волос, как всегда делала в детстве, и наконец тихо и твердо сказала:

– Ты все расскажешь мне, сын! Вот отдохнешь и расскажешь. Договорились?

Он кивнул. Молча.

И пошел к себе в комнату. Спать. Проснувшись – а уснул он тут же, моментально, только успев оглядеть свою комнату, показавшуюся такой родной, что он сглотнул тугой комок в горле, чтобы не разреветься, – проснувшись, он долго лежал с открытыми глазами, раздумывая, сказать ли матери правду. И решил – нет, ни за что. Эта правда ее доконает, убьет, и она ни за что не отпустит его от себя. И еще он понял – остаться здесь, в этой квартире и в этом городе, он не готов. Совсем не готов. Он – вот чудеса! – уже скучал по заимке, по их с Прокофьичем хозяйству, по лесу, по озеру, по густому, пахнущему лесом и травой, словно жирные Дуськины сливки, воздуху и по всей той жизни, к которой он так неожиданно и крепко привык. К которой он прикипел.

И он придумал. Вечером, за чаем, он рассказал матери эту фальшивую историю – совесть, конечно, мучила, но, как говорится, ложь во спасение – благо.

Он беззастенчиво врал, что Влада ему изменила – нашла себе богатого хахаля из какой-то «серьезной» семьи, вроде бы дипломатов. И объявила ему, что

собирается замуж.

Ну, про его душевное состояние говорить и не стоит – тут все понятно. Предательство пережить он не смог, да, наверное, он сломался и решил уехать. Сбежать. Так, казалось ему, будет проще. И вправду, он пережил эту историю и даже окреп духом и телом. «Ну, ты же сама видишь, мам!» – бодренько улыбнулся он, задрал рукав майки и натянув бицепсы.

Мать молчала, обдумывая сказанное.

– Странно как-то, – задумчиво сказала она, – про Владу странно. Она ведь звонила. Часто звонила. Очень просилась приехать. Требовала твой адрес, когда ты сбежал. Повторяла, что этого быть не может. Ну, что ты нашел другую и забыл про нее. Нет. – Мать покачала головой и повторила: – Очень странно. А ты ничего не путаешь, Сашка? Может быть, все это – сплетни? Наваety, ложь, ерунда?

Он рассмеялся.

– Ну, ты даешь, мам. Я – перепутал? Когда человек говорит мне в лицо и прямым текстом – и я перепутал?

Мать вздохнула и пожала плечами. Немного помолчав, словно раздумывая, стоит ли продолжать эту тему, вдруг сказала:

– А знаешь, Сашка, я ведь ее видела. Месяцев через восемь, ну, или что-то в этом роде. Видела в метро, на эскалаторе. Я – вниз, она – вверх. И ехала она не одна. Какой-то высокий парень держал ее за плечо. Уверенно так держал, ну, по-хозяйски, что ли. Естественно, я ее не окликнула – ты ж понимаешь. Вот, собственно, и вся история, сын.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/mariya-metlickaya/strannaya-zhenschina-sbornik>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)